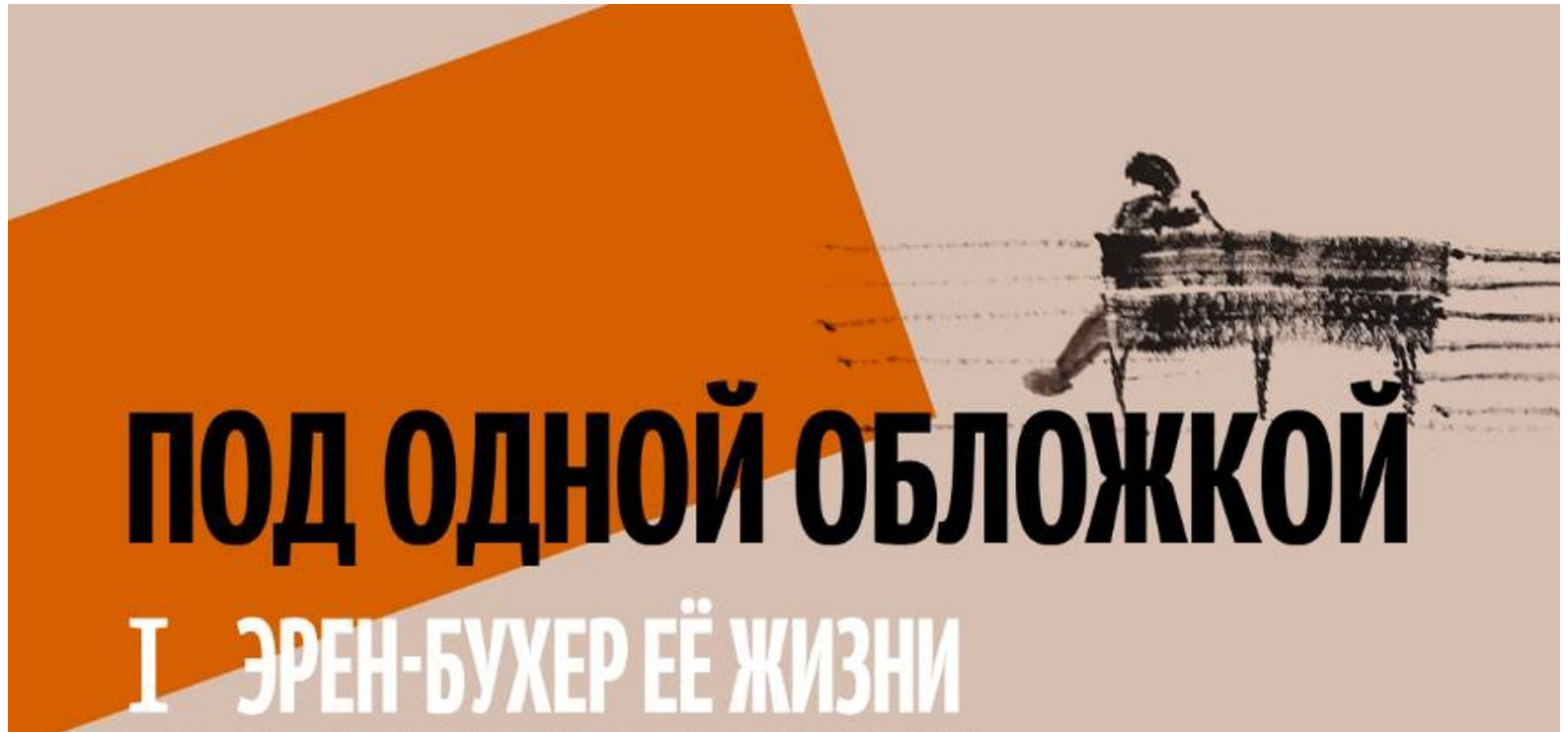




# ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ

I ЭРЕН-БУХЕР ЕЁ ЖИЗНИ

II ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ MS ЭДВАРДЫ



## ЗАПИСКИ

ГРИШИ ПОЦЕЛУЙЧИКОВА

БАБУШКИН СУНДУК

ЧАСТЬ 3 / КНИГИ 4-5



18+

Гриша Поцелуйчиков

**Под одной обложкой**

«Автор»

2026

## **Поцелуйчиков Г.**

Под одной обложкой / Г. Поцелуйчиков — «Автор», 2026

Перед вами книга о женской дружбе, зародившейся в юности, в годы Гражданской войны и продлившейся до конца жизни. Книга о подругах, переносивших вместе тяготы и несчастья XX века. Вы найдете здесь портреты многих их знакомых – И. Эренбурга, М. Волошина, О. Мандельштама и других ярких людей, которыми в то время была так богата Россия. Еще это книга о любви – не всегда взаимной, но и о взаимной тоже – к литературе и филологии. Книга проиллюстрирована фотографиями из личных архивов.

© Поцелуйчиков Г., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| От составителя                                            | 6   |
| Инициалы и имена действующих лиц                          | 7   |
| Эрен-Бухер ее жизни                                       | 8   |
| Записки                                                   | 8   |
| 1919. Киев                                                | 12  |
| 1919. Дорога. Коктебель                                   | 23  |
| 1920. Феодосия, Коктебель. Тифлис                         | 27  |
| 1921. Москва                                              | 39  |
| 1926. Москва                                              | 41  |
| 1932. Москва                                              | 51  |
| 1944–1946. Москва. Ярославль                              | 53  |
| 1954. Москва                                              | 58  |
| Приложение                                                | 60  |
| Воспоминания о брате моем                                 | 60  |
| К портрету Ядвиги. Воспоминания дочери                    | 62  |
| Удмуртская битва                                          | 67  |
| Жизнь и мнения Ms Эдварды                                 | 79  |
| Том первый – стернианский                                 | 80  |
| Глава I (11 сентября 1926, суббота)                       | 80  |
| Подруги                                                   | 81  |
| Романы бывают не от чувственности, а от идеологии         | 82  |
| Глава II (30 января 1927, воскресенье)                    | 88  |
| Ожидание войны                                            | 88  |
| Борис – первая любовь                                     | 89  |
| Глава III (3 марта 1927, четверг)                         | 90  |
| Штаф в Саратове                                           | 90  |
| Меркурьева                                                | 91  |
| Глава IV (20 марта 1927, воскресенье)                     | 92  |
| Катя Трощенко                                             | 95  |
| Доктор – любитель Достоевского                            | 96  |
| Тристрам Шенди                                            | 97  |
| Питер – город мечты                                       | 98  |
| Стерн                                                     | 99  |
| Смерть и сон                                              | 101 |
| Глава V (16 мая 1927, понедельник)                        | 102 |
| Мистическое единство в любви                              | 102 |
| Опера                                                     | 103 |
| Страдания любви                                           | 104 |
| Глава VI (25 сентября 1927, воскресенье)                  | 105 |
| Вопросы и пожелания Ядвиге                                | 105 |
| Я могла бы выдать себя своим друзьям за члена Петросовета | 106 |
| Киев                                                      | 107 |
| Человек – это животное, которое пишет письма              | 108 |
| Исчерпанная книга                                         | 109 |
| Глава VII (23 декабря 1927, пятница)                      | 110 |
| Почему Альтман                                            | 110 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Март                              | 111 |
| По                                | 112 |
| Похороны Сологуба                 | 113 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 114 |

# Гриша Поцелуйчиков Под одной обложкой

## От составителя

Перед вами – книга о подругах. Большой компании, в которой две героини – Ядвига Соммер и Эдварда Кучерова. Героини они прежде всего потому, что книга основана на их записках и письмах. И потому, что дружбу, родившуюся в начале века в Киеве, они сохранили до самого конца.

Повествование охватывает шестьдесят с лишним лет – с 1919 года до 1980-х. В жизни подруг поначалу было очень много литературы и любви. С годами любви становилось все меньше, а литературы – только прибывало.

Гражданская война, 20-е, 30-е, Великая Отечественная, послевоенное время – скорее фон в этой книге. Но фон требовательный, порой безжалостный. Некоторые подруги не по своей воле исчезали навсегда, а кто-то пропадал на время, а потом также внезапно возвращался.

В молодости героини мечтали, чтобы их дружба обессмертила себя в литературе. Эта книга – скромный шаг на этом пути, и создана она во исполнение их желания.

Она должна была быть легкой, даже воздушной, главным образом – про любовь. И про захватывающую страсть к литературе и гуманитарным наукам. Такой, чтобы ее можно было вручать первокурсникам филфака в качестве пролегомен к будущему учебному году.

Подобная книга, безусловно, понравилась бы и нашим героиням.

Но, увы, перед вами результат совершенно иной. Книга получилась большой, тяжелой, не в меру отягощенной комментариями и справками.

Сможет ли читатель рассмотреть героинь за этим забором?

Ничего уже не поделаешь – автор увлекся и устремился вслед за героинями по дорожкам, которые ведут к ним и от них. Единственная надежда, что читателю это тоже покажется интересным.

## **Инициалы и имена действующих лиц**

А.Э. – Александр Эмильевич Мандельштам  
Б.Ф. – Борис Яковлевич Фрезинский  
В.В. – Викентий Викентьевич Вересаев  
Е.К. – Екатерина Константиновна Лившиц  
Е.О. – Елена Оттобальдовна Волошина-Кириенко  
И.Г. – Илья Григорьевич Эренбург  
Л.Г. – Любовь Григорьевна Морейно  
Л.М. – Любовь Михайловна Козинцева-Эренбург  
М.А. – Максимилиан Александрович Волошин  
М.С. – Моисей Семенович Альтман  
О.Э. – Осип Эмильевич Мандельштам  
Р.Б. – Раиса Борисовна Лерт  
Э.Р. – Эдварда Рувиновна Кучерова  
Я.И. – Ядвига Иосифовна Соммер

Ада, Адка – Чернявская (Нехамкина) Адель (Ада) Яковлевна  
Андрей – старший брат Ядвиги  
Володя – Днепров (Резник) Владимир Давыдович  
Григорий – младший внук Ядвиги  
Жорж – Русановский Георгий Иванович  
Игорь – Энгельгардт Игорь Александрович  
Изя, Изинька – Меламед Израиль Моисеевич  
Катя, Катюша – Трощенко Екатерина Дмитриевна  
Лев, Лёвушка – Чернявский Лев Николаевич  
Леонид, Лёня – зять Ядвиги  
Лерты – Раиса Борисовна и Зинаида Борисовна, сестры  
Люба – Морейно Любовь Григорьевна  
Люся – Вайнберг Людмила  
Михаил, Миша – старший внук Ядвиги  
Нюся – Бескина Анна Абрамовна  
Рая – Лерт Раиса Борисовна  
Таня, Танюша – дочь Ядвиги  
Шура – Хатова Александра Васильевна

## Эрен-Бухер ее жизни

### Записки

Илью Григорьевича Эренбурга я хорошо знала в 1919–1921 годах, много раз встречала и потом. Последний раз я его видела на обсуждении «Оттепели» в каком-то московском клубе, а последнее письмо от него получила в 1959 году.

Сорок лет.

Поздно принялась я писать свои воспоминания – мне 75 лет.

Память ослабела, некоторые страницы жизни словно песком занесло, имена и даты забылись, совершенно стерлись бытовые подробности. Но то, о чем я буду писать, я вижу отчетливо. Ни на йоту я не отступлю от правды.

Мне придется рассказывать не только об И.Г. и людях, его окружавших, но и о себе. Это необходимо для того, чтобы читающий эти записки мог судить о значительности и ценности приведенных свидетельств, суждений, отношений.

Начну с внешности И.Г.

Фотографий Эренбурга сохранилось бесчисленное множество, а все-таки они не дают полного представления о его фигуре во весь рост. Крупная голова, широкая сутулая спина и тонкие ноги, семенящая торопливая походка, худые, узкие, с длинными пальцами и продолговатыми, красивой формы ногтями руки, слабые руки: когда он в Коктебеле пытался колоть дрова, я не могла смотреть на его тщетные усилия, и кончалось тем, что отбирала топор. Ему было 28, мне 19 лет, сноровки не было у обоих, и все же я лучше справлялась с этим делом.

Когда И.Г. сидел, у него был вид солидного человека, но эта солидность пропадала при ходьбе. Помнится, в Литгазете было напечатано фото Хрущева и идущего рядом И.Г.<sup>1</sup> (происходила встреча Н.С. с писателями на правительственной даче в июле 1960 года). Вероятно, не без дурного умысла газета поместила фото, на котором И.Г., казалось, подобострастно изгибаясь, торопится за главой государства. На самом деле, ни тени угодливости не было в отношении и в обращении И.Г. с Хрущевым – во всем виновата походка: И.Г., семеня, явно не поспевал за широким шагом своего собеседника.

Я видела И.Г. в трудных и опасных обстоятельствах: при нападении белогвардейских казаков на наш вагон осенью 19-го года, на катере «Русь», когда его по обледенелой палубе тащил за борт пьяный офицер<sup>2</sup>, во время шторма на Черном море, когда зигзагами прыгала груженная солью баржа за ведущим ее пароходом, то скользя в пропасть, то взлетая на гребень высокой, как гора, волны, – всюду и всегда, в любых обстоятельствах И.Г. вел себя со спокойным достоинством и исключительным мужеством.

В этом человеке была бездна иронии, но не было веселости: он никогда не смеялся, он усмехался, кривя рот. Но беспощадная ирония совмещалась в нем с некоторой долей сентиментальности – это очень ощутимо в его стихах и прозе. И.Г. так любил иногда пожалеть себя, почувствовать себя обиженным, несчастным. Когда, уехав из Тифлиса, мы остановились на

---

<sup>1</sup> Литературная газета. 1960 № 85 (19 июля).

<sup>2</sup> «Было это между Мариуполем и Феодосией. <...> В одну из последних ночей огромный детина в папахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял: "Сейчас я буду тебя крестить..." Он толкал меня к борту. Помню, я подумал: хорошо, что в воду мы скатимся вместе... Ядвига, которая ехала с нами, услышав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому, фамилию которого я запомнил. Он поднялся на палубу: "Стой! Стрелять буду!..." Увидев револьвер, мой "крестный отец" разжал объятия» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. М., 1990. с. 301).

ночлег в какой-то чайхане на Военно-Грузинской дороге, Люба<sup>3</sup> и я, не сговариваясь, стали писать своим новым друзьям-грузинам (была возможность отправить утром письма в Тифлис), И.Г. долго сидел молча, грустно и обиженно качая головой.

Но большей частью ирония крепко сдерживала проявление чувств И.Г.: растроганность, душевное волнение обнаруживались подчас только смущенной улыбкой, иногда даже усмешкой над собой.

Для характеристики человека очень существенно его отношение к людям. В обращении с ними И.Г. был сдержан и вежлив.

Даже в состоянии раздражения он никогда не был грубым – свидетельство его подлинной, я бы сказала, органической интеллигентности. Благодаря ироническому складу ума И.Г. быстро подмечал недостатки и смешные стороны окружающих, говорил о них насмешливо. Но никогда не унижался до злословия, в его оценках людей всегда было больше великодушия, понимания, чем осуждения (лучшее доказательство – его мемуары). Он мог говорить и даже писать о долгах Мандельштама, мог дразнить М.П. Кудашеву словами И. Северянина: «Это все для ребенка, это все для ребенка»<sup>4</sup>, но при этом он горячо любил О.Э. и дружески относился к Майе.

Если же что-нибудь в человеке его возмущало, отталкивало, он стремился уйти, отстраниться от него. В таких случаях И.Г. прибегал к характерному жесту: сложив ладони обеих рук, он прислонял их к уху и отклонялся в сторону, как бы не желая видеть и слышать того, кто вызвал его негодование. О дурных поступках людей, особенно близких, он говорил с грустью.

Насилия, которым мы подвергались во время путешествия из Киева в Феодосию, заставляли его надолго замкнуться, он тяжело их переживал в душе.

Еще следует сказать о деловитости И.Г., отмеченной в печати Ф. Левиным<sup>5</sup>. Только эта деловитость спасла нам жизнь во время пребывания в Крыму. Об этом я расскажу ниже.

Меня всегда поражала исключительная память Эренбурга, та россыпь знаний, которая так богато обнаруживалась и в его произведениях, и в личном общении. В 1919–1921 годах у него не было никакой библиотеки; когда много позже я бывала у него в Москве на улице Горького, я видела книжный шкаф, обклеенный вырезанными из папиросных коробок цветными полосками и картинками (временная прихоть, успокаивающее нервы занятие, как в Коктебеле – создание акварелек, иллюстрирующих детские стихи, а в старости – коллекционирование и разведение цветов); но он, этот шкаф, был набит книгами самого И.Г. и их переводами на языки чуть ли не всего мира. Я не слишком часто видела его читающим книги (другое дело – газеты, которых он, по его словам, терпеть не мог, – ему претил специфический «газетный» язык, – а все же читал постоянно); он не делал вырезок, выписок; записные книжки его отличались, как известно, краткостью исключительной. Очевидно, только отличная память сохранила в его мозгу такую массу знаний и всегда преподносила в нужную минуту.

Как правило, память больше теряет в течение жизни человека, чем накапливает, – она расточительна. Она и коварна, т. к. склонна ошибаться. Но Эренбург не ошибался.

Душевная жизнь И.Г. была очень сложной, убеждения рождались и вынашивались в результате мучительных раздумий. Между тем находились люди, мыслившие примитивно и трафаретно, которые позволяли себе обвинять Эренбурга в недомыслии, ренегатстве и одергивать его с высоты своего величия.

---

<sup>3</sup> Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна (Козинцова Любовь Моисеевна; 1899–1970) – художница, вторая жена Эренбурга.

<sup>4</sup> Название стихотворения И. Северянина (1911).

<sup>5</sup> Левин Ф.М. Из глубин памяти. М., 1973.

Я хочу обрисовать эволюцию политических взглядов И.Г., которая совершалась на моих глазах. Мы все, дети века, ее пережили – это черта эпохи, но у каждого она протекала по-разному, следовательно, это и черта личности.

Особенностью И.Г., которая в нем оставалась неизменной на протяжении всей жизни, было его критическое отношение к любой власти. Как человек мыслящий, он оставлял за собой право независимо судить о ней. Он хорошо понимал природу власти как таковой. Вот почему Эренбург не пользуется полным признанием ни на Западе, ни в СССР – нигде его не считают по-настоящему «своим».

Он мучительно пережил Октябрьскую революцию, признавал ее историческую необходимость, но в то же время его отталкивало, как и других гуманистов (Короленко, Горький), варварство стихийных мстителей, накопивших «горы ненависти, злобы» (Ленин, «Толстой как зеркало русской революции») за испытанные народом страдания. Он часто цитировал пушкинскую фразу о народном бунте, «бессмысленном и беспощадном», говорил о пролитых потоках крови. Высоко ценя созданную человечеством культуру, он не мог примириться с разрушением ее памятников, не мог спокойно говорить о сожженных библиотеках и картинных галереях, о разрушенных церквях, о том, с какой яростью народ уничтожает ценности, созданные его же трудом и гением, уничтожает потому, что они составляют собственность помещиков и капиталистов. «Где же вера в торжество революции, в то, что власть и богатство и все дары культуры будут принадлежать народу?» – говорил он.

Когда установилась власть большевиков, И.Г. пристально следил за общим направлением политики и за отдельными мероприятиями. Он сомневался, что в отсталой России можно построить социализм. «Кто же будет строить? – спрашивал он меня. – Где найдутся строители? И куда денут врагов советской власти? Врагов многочисленных и непримиримых? Ведь их не переубедишь и не перевоспитаешь за короткий срок. Значит что же? Диктатура? Насилие? Физическое уничтожение? Разве может среди морей крови расцвести “благоуханный остров” социализма?»

И он спрашивал меня: «Средневековые алхимики пытались превратить отбросы в золото. Современные алхимики сумеют ли превратить зло в добро?»

Сочувствовал ли И.Г. белым? Если и были у него какие-нибудь иллюзии, они рассеялись быстро, при первом же знакомстве с «подвигами» деникинской армии. Деникинцы, взяв Киев, откровенно заявили о себе жуткими погромами, расстрелами красных, террором. Началась полоса жизни под их властью, не сулившей ничего доброго: контрразведка свирепствовала, офицерство вело разгульную жизнь.

Вспоминаю наши разговоры осенью 19-го года. И.Г. соглашался с тем, что во время шестимесячного пребывания большевиков в Киеве чувствовалось какое-то дуновение свежего ветра, проникновение новых отношений между людьми, ощущалась попытка перестроить жизнь – приучить всех людей работать, подобрать беспризорных детей, приобщить массы к искусству (даже улицы запестрели плакатами, призывами, знаменами), вдохновить небывалыми задачами молодежь – тогда как при белых жизнь сразу окрасилась в темные, мрачные тона: будущее сулило одно – реставрацию, возвращение к прогнившему режиму, еще более омраченному хаосом, беспорядками, неуверенностью во всем.

И.Г. уехал в Крым, в Коктебель.

Там, в доме М.А. Волошина, в условиях «убежища», для И.Г. настало время раздумий, осмысления того потрясения, которое переживала Россия, и ее путей. В результате долгих и мучительных сомнений, колебаний явилось твердое убеждение в закономерности и необратимости исторического процесса, но отсюда было еще далеко до его оправдания. В дальнейшем жизнь в Москве привела И.Г. к мысли, что «голодные крестины куда привлекательнее самых

пышных похорон»<sup>6</sup>. Впрочем, хоронить западную цивилизацию, капиталистический мир было еще рано: надежды на всемирную революцию не оправдались.

Обстоятельства заставили Эренбурга уехать в Париж, и там он написал свою первую книгу о двух мирах<sup>7</sup>.

С тех пор наши встречи стали редкими, поэтому я не берусь писать о дальнейшей эволюции политических взглядов И.Г. Но о ней можно судить по его собственным признаниям в книге «Люди, годы, жизнь».

---

<sup>6</sup> Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 345.

<sup>7</sup> Роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...». Издан в 1922 г. в Берлине, в 1923 г. – в СССР с предисловием Н.И. Бухарина.

## 1919. Киев

*Счастье*

*Ядвиге*

*С каждым днем пестрей в саду тропинки,*

*Воздух золотистей, небо ярче,*

*Близко, тонко реют паутинки,*

*А листва томит, горит все жарче...*

*Говорят, что паутинки – счастье,*

*Но тонки они, неуловимы!*

*Ночь осенняя сулит напасти,*

*И несутся паутинки мимо!*

*С каждым днем надежда в сердце вянет,*

*С каждым днем все дальше счастья нити...*

*День осенний, хрупкий, синий манит...*

*Небо, солнце, счастье, озарите!*

Екатерина Трощенко, Киев, 1917 г.<sup>8</sup>

Наша первая встреча произошла весной 19-го года. Я хорошо знала появившиеся недавно в Киеве сборники стихов Эренбурга «Одуванчики», «Стихи о канунах», «Молитва о России». Вдруг я услышала, что автор в Киеве и открыл студию для молодых поэтов и любителей поэзии. Я стихов не писала, не грешна, но любила и изучала пристально. Набралась храбрости и записалась, аккуратно посещала занятия. Их проводил всегда И.Г., других руководителей я не видела, м. б. потому, что запоздала.

Помню первое впечатление об И.Г. Он вошел в аудиторию быстро и неслышно, как будто несколько смущенный, остановился у стола, опустив руки и плечи. Одежда на нем сидела мешковато, волосы были взъерошены. Заговорил тихо и сразу, без предисловий, приступил к беседе.

Несколько слов о внешнем облике И.Г. Я не привыкла обращать внимания на одежду своих собеседников, интересоваться ею.

Поэтому запомнила немного. Больше всего мне нравилось, когда И.Г. надевал в летнее время голубую или кремовую рубашку, у него даже лицо светлело от нее. Запомнила знаменитую пижаму песочного цвета, которую он носил в Коктебеле. Сначала штаны были длинные, потом, когда их порвала собака, Люба подрезала их до колен. Фигура было довольно колоритная: волосы торчали, как у дикобраза, спина сутулая, ноги босые и... легкомысленные штанишки.

Полная метаморфоза произошла в Париже. Вскоре после отъезда И.Г. за границу я получила сделанную, очевидно, в лучшем ателье фотографию, на которой он выглядел во всем новеньком, только что от портного, совсем как «денди лондонский».

Еще запомнился мне его пышный и невыносимо алый галстук, в котором И.Г. приехал из-за границы, кажется, в 34-м году.

Я долго не могла отвести глаз от этого украшения, но потом поняла, что это просто дань моде, а не собственному вкусу.

Из занятий в студии ничего не помню, кроме одного неприятного эпизода. И.Г. прочитал строку из своего сборника, изменив в ней одно слово: вместо «первого» – «первый», и предложил исправить ошибку. Все чувствовали и понимали, что смысл и ритм требуют замены, но

---

<sup>8</sup> Бабье лето : Стихи / Ек. Трощенко, Ек. Козина, А. Селивановский, Георг. Певцов. Киев, 1918.

бывает так: вдруг «заколодило», никто не мог догадаться, какое слово и как нужно изменить. И.Г. бился с нами минут десять и наконец был вынужден сам раскрыть карты.

Видно было, что ему досадна такая тупость аудитории. Все были очень сконфужены.

Я заметила, что И.Г. обычно приходит и уходит с молчаливой и сумрачной девушкой, Лизой Молдавской<sup>9</sup>. У нее были длинные косы, круглое украинское лицо и большие черные глаза. Впрочем, она, кажется, была еврейка: глаза были скорбные, как у всех евреев. Однажды Лиза не пришла на вечерние занятия. Все студенты быстро разлетелись, я выходила последняя, вслед за мной вышел И.Г. Вежливо осведомился, в какую сторону я иду. Я жила в то время в общежитии дошкольных курсов (где училась) на Бибииковском бульваре. Он жил на Рейтарской, а студия помещалась на Николаевской, в Липках. Нам было по пути, мы свернули на Владимирскую и долго шли по ней. Народу было мало. Время было весеннее; недавно прошел дождь, улицы блестели, дышалось легко. Я была в берете и черной суконной накидке. Мы заговорили о любимых поэтах и сразу нашли общий язык. И.Г. спросил, знаю ли я его стихи. Я прочла запомнившееся стихотворение из «Одуванчиков». И.Г. вел меня под руку, проводил до общежития, поцеловал руку.

Много лет спустя, это было примерно в 42-м году, моя дочь Таня вернулась вечером из института, ее провожал однокурсник. Она вбежала радостная, румяная, со снежинками в волосах, бросилась ко мне на шею: «Мама, Лёня поцеловал мне руку!»

Она была счастлива, моя девочка, как ее мать 23 года назад. Мне не с кем было поделиться радостью, я пришла и тихонько легла, но долго не могла уснуть.

С тех пор И.Г. не уходил больше с Лизой Молдавской. Каждый раз он провожал меня. Как-то шли мы с ним еще засветло по Мариинско-Благовещенской. Вдруг он, прощаясь, прислонил меня (именно так) к стене какого-то дома и поцеловал в губы при всем честном народе, прошептав: «Любимая! Ненаглядная!»

Помню, в общежитие он прислал мне букет чудесных ирисов. Это случилось в тот день, когда я выкурила свою первую папиросу.

И.Г. несколько раз предлагал мне закурить, я отказывалась, тогда он сказал: «Вам пойдет папироса». Я и решила поупражняться предварительно дома. Конечно, мне стало плохо, закружилась голова, я легла. В эту минуту мне принесли ирисы.

Помню еще эпизод, связанный с курением. Однажды мы встретились утром, и И.Г. повел меня в какое-то кафе. В нем было по-домашнему уютно, народу не было, мы одни. Удобно расположились в глубоких соломенных креслах за круглым столом, покрытым чистой скатертью. Хозяйка, полька, пожилая и очень достойная женщина, напоила нас кофе со сдобными булочками, после чего И.Г. закурил сигару и предложил мне. Я говорю: «Не знаю, с какого конца за нее приняться». – «Я тебя научу». Срезал кончик, зажег, подал. И тут хозяйка кафе не выдержала: «Как вам не стыдно, господин! Вы ведь взрослый человек, а ваша спутница – девочка». Короче, она его отчитала, очень была возмущена. И.Г., смущенный, молча выслушал упреки, – возразить ведь было нечего, – встал, расплатился, и мы вышли.

Жаль, что я не сделала выводов из этого урока, после того тридцать лет курила. А так легко было бросить!

Между тем Лиза постаралась со мной познакомиться и однажды пригласила к себе. Она была немного старше меня, и ей легко удалось найти дорогу к моему сердцу. Лиза рассказала, как она любит И.Г., и вынудила меня к откровенности. Мне очень понравилась наша беседа, и я, гордясь, думала про себя: «Как у Достоевского!»

И попало же мне от И.Г.! Когда мы увиделись, он уже знал от Лизы о нашей встрече и изъяснил меня своими ироническими замечаниями. Он эту сцену воспринял как обыкновен-

---

<sup>9</sup> Молдавская Елизавета Давидовна – сестра жены кузена Л.М. Козинцевой А.М. Кричевского (1896–1956), в будущем знаменитого дерматолога.

ную безудержную девчоночью болтовню и стыдил меня и издевался. Вот из этого урока я сделала выводы, и, хоть мне часто приходилось впоследствии выслушивать откровенные излияния на интимные темы, сама я никогда больше не распускала язык.



Киев, Софиевская улица (улица Калинина, д. 3), в этом доме располагалась греческая кофейня. Фото 1960-х годов из личного архива автора

Мы встречались с И.Г. в греческом кафе на Софиевской улице, о котором он пишет в своих воспоминаниях<sup>10</sup>. Мы сидели там часами, и он мне рассказывал. Как много он рассказывал! Я постепенно узнала о его детстве, юности, о том, как он был большевиком, как эмигрировал; как жил в Париже, маялся, голодал, работал на погрузке (это со своими слабыми руками!), как стал поэтом, посещал «Ротонду»<sup>11</sup>. Рассказывал о своих друзьях: А.Н. Толстом, М.А. Волошине, Т.И. Сорокине<sup>12</sup>, о жене своей Кате<sup>13</sup> и дочери Иринке<sup>14</sup>, о подругах: Е.Г.

<sup>10</sup> «На Софийской улице, возле Думской площади, было маленькое грязное кафе; держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывеска: "Настоящий свежий простокваш". Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили – поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке Педагогического института Ядви́ге, Наде Хазиной, которая потом стала женой О.Э. Мандельштама, о моих заграничных похождениях. Я фантазировал: что делал бы добрый французский буржуа или римский лаццарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа "Хулио Хуренито"» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 296).

<sup>11</sup> «Ротонда» (La Rotonde) – знаменитое парижское кафе на углу бульваров Монпарнас и Распай, завсегдатаем которого Эренбург был в 1912–1917 гг. Место встреч революционеров, художественной и поэтической богемы.

<sup>12</sup> Сорокин Тихон Иванович (1879–1959) – искусствовед, литератор, журналист, собиратель икон.

<sup>13</sup> Шмидт Екатерина Оттовна (1889–1977) – переводчица, первая жена (1910–1913) Эренбурга. В 1913 г. ушла от него к Т.И. Сорокину.

<sup>14</sup> Эренбург Ирина Ильинична (1911–1997) – дочь И.Г. Эренбурга и Е.О. Шмидт.

Полонской<sup>15</sup>, Шанталь<sup>16</sup>. Говорил о своей любви к Парижу (описывал его подробно), о французских поэтах и художниках; впервые я узнала от него биографию Франсуа Вийона – И.Г. читал мне наизусть свои переводы; о Пикассо я слышала раньше, но имена Сутина, Шагала, Модильяни прозвучали для меня впервые. Познакомил меня с русским философом Степуном, заинтересовал Хлебниковым.

И.Г. много рассказывал о 1-й мировой войне. С особенным волнением он говорил, как потрясла его тупость и бессмысленная жестокость немцев, подпиливших в садах на занятой ими французской территории чудесные цветущие яблони. Вид увядающих деревьев истерзал его: ему казалось, что и он в ответе перед ними – ведь он тоже человек. А 2-я мировая война «обогастила» его новыми переживаниями. В книге «Стихи 1938–1958» он пишет:

*Был час один – душа ослабла.*

*Я видел Глухова сады*

*И срубленных врагами яблонь*

*Еще не зрелые плоды.*

*Дрожали листья. Было пусто<sup>17</sup>.*

И.Г. нашел во мне благодарную слушательницу. Я не замечала убогой обстановки кафе, грузчиков, играющих в домино, и поэтов. Приходили туда Осип Эмильевич <Мандельштам> с Надей Хазиной<sup>18</sup>, поэт Маккавейский<sup>19</sup>, вероятно, еще многие другие – они меня не интересовали, я смотрела на них, как на досадную помеху, т. к. прекращался, хоть временно, поток воспоминаний, признаний, рассуждений И.Г.

Но вот что интересно отметить. Расставшись в 21-м, мы встретились в 26-м году. Когда стали вспоминать прошлое, перебирать старых знакомых, И.Г. удивился, что я многих забыла, приписывал это моей дурной памяти. Позднее я поняла, что не в этом дело, – просто память у него была другая. У него уже образовалась профессиональная писательская память: каждый человек представлял для него интерес, он запоминал его внешность, манеру одеваться, его словечки, высказывания, любил проследить дальнейшую судьбу. Меня в то время книги интересовали больше, чем люди. С тех пор мне приходилось встречать немало начинающих писателей. Я проверяла: если он внимателен к людям, их поведению, мнениям, образу жизни, можно рассчитывать, что писатель из него выйдет; если же он сосредоточен только на себе, он скоро выдохнется.

Впоследствии я по-особому читала Эренбурга: было занятно встречать в его романах знакомые детали, ситуации, мысли, выражения, выхваченные из жизни, но трансформированные, творчески преображенные.

Возвращаясь к греческому кафе. И.Г. читал много своих стихов, особенно любил цитировать «Пугачью кровь», «Судный день», «Молитву о России». Я выросла убежденной атеисткой, поэтому религиозные мотивы не встречали у меня никакого отклика. Но я чувствовала за ними мятущуюся душу и глубокое страдание, эти стихи надрывали мне сердце. На протяжении многих лет нашей дружбы мне часто приводилось слышать, как И.Г. читает свои стихи. Впе-

<sup>15</sup> Полонская Елизавета Григорьевна (урожд. Мовшенсон; 1890–1969) – поэтесса и переводчица, участница литобъединения «Серапионовы братья».

<sup>16</sup> Кенневилль Шанталь (Chantal Quenneville; 1897–1969) – французская художница, подруга и муза Эренбурга в 1914–1917 гг.; ей посвящен роман в стихах Эренбурга «В звездах» (Киев, 1919).

<sup>17</sup> Начало стихотворения без названия (1943), вошло в сборник Эренбурга «Дерево» (1946). Вариант: Был час один – душа ослабла. Я видел Глухова сады И срубленных врагами яблонь Уже посмертные плоды. Дрожали листья. Было пусто. (Эренбург И.Г. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подготовка текста и примеч. Б.Я. Фрезинского. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2000. с. 515).

<sup>18</sup> Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980).

<sup>19</sup> Маккавейский Владимир Николаевич (1891–1920?) – поэт, художник, переводчик. «Я.И. Sommer в устных рассказах, неизменно упоминая, что Маккавейский всегда был изысканно одет, называла его "поэт-щеголь"» (Минувшее : исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum-Феникс, 1994. [вып.] 17. с. 164).

чтения наслаивались одно на другое, но я долго не могла понять, почему стихи в его чтении так сильно хватают за душу.

Однажды в деревне я услышала причитания молодой матери над ее погибшим мальчиком. Слова были бессвязны и почти бессмысленны, но рвавшиеся из уст женщины вопли выражали такое лютое горе, такое неутолимое страдание, как будто все матери мира оплакивали своих мертвых детей.

Многие стихи Эренбурга, созданные как бы одним дыханием, напоминали мне с тех пор эти горестные вопли.

*Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,  
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась...  
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,  
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось*<sup>20</sup>.

Как сочетались эти душевные муки И.Г. с его трезвостью и скептицизмом? Трудно сказать. Вероятно, так же, как горячая лава с покрывающей ее застывшей коркой.

Иногда И.Г. читал чужие стихи: «Настанет день, печальный, говорят» М. Цветаевой, «Я не слышал рассказов Оссиана», «Декабрист», «Я изучил науку расставанья»<sup>21</sup> О. Мандельштама, «Марбург», «Коробка с красным померанцем» Б. Пастернака и др.

Свои рассказы И.Г. подчас облекал в стихотворную форму – такие импровизации длились часами.

Меньше всего мы говорили о политике: и место было неподходящее, да и взгляды были разные. Я твердо стояла за социализм, за большевиков, меня увлекали поэты революции, романтика революции. И.Г. приводил мне пример небольшого шведского городка, где, по его мнению, все рабочие были прекрасно обеспечены материально и жили на началах справедливости и равенства с капиталистами. Он спрашивал меня, нужен ли социализм таким рабочим. Я уклончиво отвечала, что если существует такой город, то это исключение. Эрудиции И.Г. я противопоставляла свою непоколебимую убежденность, основанную не на разуме, а на чувстве. И.Г. относился к этому расхождению во взглядах в общем добродушно<sup>22</sup>.

Вскоре в наших отношениях произошел перелом: И.Г. решил познакомить меня с Любой. Он сообщил мне о своем намерении жениться, охарактеризовал Любу и ее семью (которая противилась тогда этому браку) и предложил встретиться. Я молча приняла удар. Я не думала, во что выльются наши отношения, не строила никаких иллюзий, но меня тогда потрясло, что он мог говорить одновременно «любимая» и ей, и мне. И.Г., вероятно, боялся моей реакции и с опаской на меня поглядывал, но я сидела, как замороженная.

На другой день они вместе пришли в студию, когда там никого не было, кроме меня. И.Г. познакомил нас, оставил вдвоем в комнате, а сам куда-то исчез. Люба начала светскую causerie<sup>23</sup>.

Он появился в тот момент, когда она закончила фразу, а я не успела отреагировать. И.Г. усмехнулся и спросил: «Вы так и молчали все время?» – «Нет, – сказала Люба, – я рассказывала Ядвиге Иосифовне...»

Этим был задан тон нашим отношениям. Мы, почти ровесницы (она старше меня на год), никогда не звали друг друга по имени, только по имени-отчеству и на вы. И вообще у всех

---

<sup>20</sup> Без названия (1939, Барселона).

<sup>21</sup> Стихотворение Мандельштама «Tristia» (1918).

<sup>22</sup> «Вот один из эпизодов, рассказанный Я.И. Соммер, но не включенный ею в "Записки": "Я смотрела с балкона парад частей Красной армии на площади у Софийского собора. Парад принимал Троцкий. Красноармейцы проходили маршем мимо трибуны. Я тогда не знала команды равнения при марше, и мне показалось, что красноармейцы отворачиваются от вождя. Я возмущенно рассказала об этом И.Г. Он долго посмеивался потом надо мной"» (Минувшее-17. с. 164).

<sup>23</sup> Causerie – беседа (франц.).

троих было принято (с первой до последней встречи) величать друг друга и обращаться на вы. Только наедине мы оставляли этот светский тон.

Вскоре И.Г. рассказал мне, как их регистрировала Ванда<sup>24</sup>, знакомая мне девушка, веселая, остроумная, живая. В то время запись всех актов гражданского состояния производилась в одном помещении. Он был в восторге, слушая, как Ванда жонглировала своими бумажками: «Вам свидетельство о смерти? А вам записать младенца? Вы вступаете в брак? А вы уже решили развестись? Скоро же вы! И двух месяцев не прошло, как поженились». Потом по требованию родителей Любы их обвенчал раввин. И опять И.Г. рассказывал со смехом, как ему пришлось во время церемонии шепотом попросить у Любы булавку, чтобы пристегнуть сползающие брюки.

Внешне в их жизни ничего не изменилось. И.Г. не переехал к Козинцевым, Люба не переехала к нему. В это время И.Г. стал часто поговаривать, как бы он хотел отправиться к Максиму Волошину, пожить в Коктебеле. Но это было невозможно: в Крыму были белые, между ним и Киевом пролегал фронт.

Эренбург тщательно следил за событиями по газетам. Если я приходила на Софиевскую утром, то всегда заставляла его обложенным ворохами газет. Он часто сообщал мне политические новости, газет я тогда не читала. Но реагировали мы на события по-разному. Эренбург иронически относился ко всем мероприятиям большевиков. Я же им сочувствовала, ненавидела царизм и белых. Все мои друзья были комсомольцами и коммунистами.

Помню, летом 19-го года красные покидали Киев. По Крещатику спешно уходили красноармейцы, усталые, запыленные, с мрачными лицами. Я шла и плакала, пришла зареванная в кафе. И.Г. поиздевался над моими слезами. Но вскоре красные вернулись, отбив натиск белых.

Между тем я закончила курсы дошкольных работников, куда поступила после закрытия Высших женских курсов, где проучилась два года. Всех моих товарищей разослали в разные города. Меня же И.Г. не отпустил. Он в это время работал с О.Э. <Мандельштамом> в Театральном отделе Губнаробраза. Он попросил записать меня в штат его воспитательниц, т. к. организовывал театральные зрелища в детских домах. И я стала работать под его руководством.

И.Г. воспользовался идеями и опытом театра импровизации для художественного воспитания детей. Это было прекрасное и очень своевременное начинание. По его совету я взяла для постановки сказку Андерсена «Соловей». Познакомившись с детьми указанного мне детского дома, я рассказала им сказку, затем предложила поиграть в «Соловья». Дети сами распределили между собой роли, но вначале смущались и едва выжимали из себя скудные реплики. Игру стали повторять каждый день, и постепенно дети освоились, стали придумывать свои слова, действовать живей и свободней. Встречая с моей стороны поощрение своих «находок», они перестали стесняться. С каждой репетицией («игрой») текст пьесы удлинялся, придумывались новые мизансцены, диалог становился более сложным. Декорации нам не требовались, в театре импровизации, как в детских играх, господствует условность.

Но очень строго и настойчиво дети требовали, чтобы были необходимые, с их точки зрения, аксессуары: звонок, занавес (его сшили из детдомовских одеял); понадобились также зрители.

Я успела поставить лишь один спектакль. И.Г. на нем присутствовал.

Власти сменились в Киеве. Пришли деникинцы<sup>25</sup>, и сразу же – говорили, что с разрешения командования, – какая-то «дикая», или «осетинская» дивизия стала громить евреев. Это

---

<sup>24</sup> 13 августа 1919 г.

<sup>25</sup> 31 августа 1919 г. Киев взят войсками Добровольческой армии. «Нам пришлось видеть из другого окна <квартиры Хазинных>, выходящего на городскую думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. с. 24).

продолжалось несколько дней. Мне хочется описать собственные впечатления от пережитых мною жутких ночей.

Я жила в это время не у себя в Лукьяновке, а у подруги<sup>26</sup> на Жилинской улице, заселенной в основном еврейскими богачами.

Эдварда жила во дворе, во флигеле, с родителями, людьми среднего достатка. К вечеру улица замирала: ни пешего, ни конного.

Ворота всюду были завалены изнутри штабелями дров, парадные двери заперты на все замки, засовы, цепочки, в вестибюле дежурили двое жильцов, сменяясь каждые два часа. Как только темнело, воцарялась могильная тишина. Но вот вдаль начинало что-то грохотать, все слышнее, ближе, и вдруг из-за угла на улицу врывались несколько грузовиков с орущими солдатами. Первый грузовик, облюбовав какой-нибудь дом, останавливался и начинал «наступление», другие катили дальше. Стук, грохот, удары прикладами в двери, угрозы стрелять по окнам.

Удивительное дело! Дежурные, к которым сбегались мужчины со всего дома, не выдерживали и сами открывали входы.

Солдаты ломились в квартиры. К этому времени весь дом был охвачен паникой и... выл. Этот вой из соседних домов слышали мы с Эдей, сидя в темной передней на сундучке, накрывшись одной шалью, тесно прижавшись друг к другу и замирая от ужаса.

Только к утру все стихало<sup>27</sup>.

В эти страшные дни в одной из киевских газет появилась подлая статья Шульгина «Пытка страхом». Я еще как-то могла объяснить себе поведение пьяных, озверевших дикарей, но понять, как мог образованный человек, депутат Киевской думы их оправдывать, то есть фактически натравливать... Я спрашивала об этом И.Г. Что он мог сказать мне? И чтобы отвлечь от тяжелых мыслей, он, смеясь, рассказывал мне, как робкий офицерик заскочил к Козинцевым и сунул в карман серебряный портсигар, стыдливо пробормотав: «Беру на память»<sup>28</sup>.

Несчастный Киев! Сколько раз в нем менялись власти, город обстреливался, бои вспыхивали даже в центре, на перекрестках устанавливали пулеметы, и они трещали, простреливая все пространство улиц, так что нельзя было нос высунуть за пределы подворотни. Сколько раз я оказывалась приплюснутой к воротам чужих дворов на Крещатике, Владимирской, Большой Житомирской!

Помнится, ранней осенью 19-го года Красная Армия осаждала город, пытаясь отбить его у деникинских войск<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Э.Р. Кучеровой.

<sup>27</sup> «Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. с. 24).

<sup>28</sup> О захвате Киева в 1919 г. пишет В. Днепров: «Деникинцы заняли Киев и через несколько дней собрали около двухсот еврейских юношей – главным образом, из интеллигенции – и расстреляли всех возле стены у Байкова кладбища, где неподалеку я тогда жил. Среди расстрелянных был мой друг Боба Кранц, перед которым я преклонялся и был ему бесконечно предан. С душой чистой, как слеза, наивно-добрый, он сумел в такие молодые годы сделаться подлинным ученым. Самые авторитетные журналы, русские и иностранные, охотно печатали его статьи, хвалили их, одновременно удивляясь тому, что эти зрелые работы делает школьник. Не могло быть сомнения в том, что растет большой ученый. И вот шелкнул выстрел, и Бобу Кранца швырнули в общую яму для мертвецов. Я не умел ни понять, ни передать чувство, которое меня жгло, – да и теперь я не умею рассказать об этом чувстве. Может быть, нужно сказать так: из запасов веселости и радости, которыми меня одарила природа, что-то заметно и навсегда убыло» (Днепров В. Люди двадцатых годов // Звезда. 1991 № 5. с. 179). Самые обширные воспоминания об этих событиях оставила Р.Б. Лерт. Во время погрома только чудо спасло ее старшую сестру Зину от растерзания казаками; пишет она и о судьбе Бориса Кранца (брата ее приятеля Георгия) – его трагическая гибель поразила в Киеве очень многих (Лерт Р.Б. Еврейский погром в Киеве в 1919 году / Публикация И. Энгельгардта // Вестник Еврейского университета в Москве. 1997 № 1 (14). с. 193–202).

<sup>29</sup> «Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С девятнадцатого года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался пятидюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. с. 19).

И.Г. воспринимал это как серьезную угрозу для себя. На его совести была статья «Добро пожаловать!», о которой он впоследствии не мог говорить без содрогания. Он решил уходить, как сотни напуганных людей. С ним, естественно, собралась Люба, их путь лежал в Харьков, к отцу И.Г.

Как в их компании очутилась я – совершенно не помню. Как могла меня отпустить мама и как я могла оставить ее – мне непонятно. Я ли вызвалась сопровождать И.Г., он ли предложил мне не расставаться с ним – не знаю, не знаю. Я помню только дорогу на Святошино, по которой бесконечно шагали какие-то люди, больше мужчины, женщин было мало, с котомками за плечами и в руках, иные с мешками, одетые плохо, в какие-то потертые, старые пальто. Может быть, погода была пасмурная, но у меня осталось от них впечатление сплошной серости.

Иногда мелькало знакомое лицо, но люди тут «не узнавали» друг друга. Помню профессора Довнар-Запольского. Он, отец моих приятелей Славы и Води, убежденных большевиков, был монархистом, членом Союза русского народа (оба сына его погибли: Водя был убит, Слава, младший, мой сверстник, воевал, умер от сыпняка). Мне стало, помню, мучительно стыдно оказаться в одном ряду с черносотенцем.

Поздно вечером мы пришли в Святошино, стали искать ночлег. Нам удалось влезть в вагон, уже забитый людьми, но вскоре они куда-то исчезли. Вагон похож был на современный купейный. Примостились мы, конечно, в проходе. Не помню, как мы спали (вероятно, на полу, больше не на чем), только знаю, что ночь провели скверно. Я не остереглась, забыв, что купе заняты людьми, и громко сказала: «Хоть бы большевики победили!» – «Вы хотите, чтобы нас избили и вышвырнули отсюда?» – отчитал меня И.Г.

Наутро распространилась весть о том, что белые отбили большевиков. И мы вернулись. Дороги не помню. Очевидно, шла очумелая от усталости. Очнулась только, когда проходили по Крещатику, возле трупов, валявшегося у парадного входа в дом. Кажется, именно в этот день я единственный раз была в семье Любы, куда меня пригласили передохнуть. Помню мать Любы и Гришу Козинцева<sup>30</sup> с товарищами – они вбежали веселые, оживленные, с какими-то вестями.

Под властью белых опостылела оседлая жизнь, всех потянула дорога, «стала вновь Россия кочевой».

Почему Эренбург рвался в Крым?<sup>31</sup> Вероятно, многим художникам необходимо «убежище», чтобы могли отстояться впечатления, чтобы обдумать быстротекущую жизнь, чтобы творить.

И.Г. знал, что дом М.А. Волошина будет для него таким убежищем, – и, действительно, там родилась его книга стихов «Раздумья», там он пришел к определенным политическим выводам, там понял, что его место – в Москве.

И.Г. оказался, к моему удивлению, отличным организатором: хорошо обдумал свой план, подготовил его выполнение, подобрал подходящую компанию: в нее вошли братья Мандельштамы<sup>32</sup>, Осип и Александр Эмилевичи, театральный художник И. Рабинович<sup>33</sup> и другие.

<sup>30</sup> Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973) – младший брат Л.М. Эренбург, впоследствии известный кинорежиссер.

<sup>31</sup> «Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель, – мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга, – прочь от дому куда-нибудь южнее, – поезжай к Волошину, это человек верный – с ним не пропадешь... Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды – вещь живучая» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. с. 20).

<sup>32</sup> Мец А.Г. «Мандельштам в Ростове-на-Дону» // Звезда. 2014 № 11. с. 217–218. О.Э. Мандельштам уехал раньше И.Г. Эренбурга и в сентябре уже был в Коктебеле. В августе 1919 г. [нач. 20-х авг. ст. ст./нач. сент. н. ст.] состоялся отъезд О.Э. Мандельштама из Киева в Феодосию через Харьков и Ростов-на-Дону. «Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией – на Харьков отправляли специальный вагон с актерами» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. с. 24).

<sup>33</sup> Рабинович Исаак Моисеевич (1894–1961) – театральный художник, живописец, график и монументалист. В 1919 г. оформил в Киеве спектакль «Фуэнте овехуна» по Лопе де Вега, поставленный К. Марджановым. Являлся художником Дворца Советов (1939–1948). С 1955 г. главный художник Театра имени Евг. Вахтангова.

Затем И.Г. предложил ехать и мне. Я этого никак не ожидала и заранее грустила, страшась разлуки. «Откуда я возьму деньги на дорогу, на жизнь?» – это был единственный вопрос, возникший у меня. И.Г. объяснил, что денег надо немного, что нужно мобилизовать внутренние ресурсы, а он, И.Г., обменяет эти несчастные дензнаки на валюту. А мои педагогические способности могут найти приложение в любом месте: в белогвардейском Крыму так же, как в белогвардейском Киеве.

Мне показалось это убедительным. Ехать очень хотелось. Правда, меня грыз еще один вопрос: а мама? Но все уладилось. Мама поняла, что меня не удержишь (мне было очень плохо дома из-за вечных неладов со старшим братом), и отпустила без просьб, без слез, без упреков. Она принесла большую жертву: отдала мне все сохранившиеся от лучших времен драгоценности, огромный медвежий воротник на шубу, тонкое кружевное покрывало на кровать. Все это я загнала на толкучке, деньги отдала И.Г. и стала готовиться к отъезду.

Вот в чем проявилась деловитость И.Г.: он нашел единственное средство сохранить быстро падавшие в цене деньги.

Чтобы было понятно мое согласие, должна сказать, что после женитьбы И.Г. я старалась незаметно отдалиться от него: часто пропускала условленные встречи или сокращала их до минимума, ссылаясь на мамины поручения и т. п. И.Г. тревожился и огорчался. Потом, видимо, понял нарочитость моего поведения и стал «выяснять отношения».

– Ты хочешь расстаться со мной? Почему? Разве тебе плохо со мной?

Нет, мне было хорошо с ним.

– Ты так привязана к родным и друзьям?

– О, нет!

– Боишься сплетен?

– Если ты не боишься, то я и подавно.

– Так не надо ломать дружбу. Это преступление передо мной и перед собой.

Это была хорошая, честная дружба с оттенком некоторого опекуинства с его стороны – это естественно, он был почти на десять лет старше меня. Я могла бы ему сказать: «И смело вам себя вверяю». Я ему вверилась безоговорочно, без всяких сомнений, и он не обманул моего доверия. Я не думаю, чтоб эта ноша была так уж легка для И.Г.: иногда я проявляла свой дурной характер, подчас раздражала его своей наивностью да мало ли еще чем, я была причиной его ссоры с М.А., иногда дико тосковала по маме, по своим друзьям, по Киеву и однажды даже пыталась утопиться, но И.Г. никогда и ничем не обидел меня, всегда был заботлив, мягок и предупредителен и легко прощал мои вины.

Надо отдать должное и Любе. Наши отношения были всегда (за исключением времени, когда она болела) холодными и отчужденными, но вполне корректными. А ведь она могла, имела право требовать, чтобы наше трио было ликвидировано, чтобы я не мешала ей жить. Впрочем, мы с ней квиты: если я и причиняла ей неудобства, если стесняла ее, то все же я, а не кто другой, выходила ее от сыпного тифа.



Борис Фельденкрайз. Надпись на обороте: «Если я люблю, направлю свою волю в твое русло», 28.02.1933 г. Фото 1931 г. из личного архива автора

Итак, мы готовились к отъезду. Вскоре одна встреча несколько омрачила наши отношения. Как-то вечером я пришла в наше кафе с Борисом Фельденкрайзом<sup>34</sup>, моим сверстником

---

<sup>34</sup> Борис Иосифович Фельденкрайз – первая (общая) киевская любовь Я.И. Соммер и Э.Р. Кучеровой.

и другом, моей первой любовью. Мы давно не встречались, впрочем, оба не теряли друг друга из виду. Это была прощальная встреча. Мы сидели и тяжело молчали, как вдруг неожиданно появился И.Г. Он подошел ко мне, я его познакомила с Борей, и он, насупившись, сел за мой стол. Беседа не клеилась, говорил один Борис, я молчала, мне было не по себе. И.Г. выпил чашечку кофе и, будто за этим только пришел, поднялся и спросил меня: «Вы идете? Нам по пути». Я сказала: «Да» и хотела встать, но Боря шепнул мне: «Останься», – таким умоляющим тоном, что я не могла ему отказать.

– То есть нет, – неловко поправилась я, – я еще не могу уйти.

Ссутулившись, И.Г. быстро вышел.

Я высоко ценю, что он никогда не напоминал мне об этом вечере, он понял все без слов. Понял, что мне надо было проститься с моей юностью, с друзьями, с родным и любимым Киевом, с самым дорогим человеком, так как в Борисе было сосредоточено все.

В середине октября 19-го года мы уехали.

## 1919. Дорога. Коктебель

Жизнь для меня началась невиданная, полная неожиданностей и странностей, сумбурная, но безумно интересная. Оторвавшись от родной почвы, я смотрела на мир большими глазами, замирая от удивления, и стремилась впитать как можно больше впечатлений. Я жила согласно стихам Блока:

*Душа моя рада  
Всякому гаду  
И всякому зверю.  
И о всякой вере*<sup>35</sup>.

Не скажу, чтобы я принимала гада и зверя, и всякую веру, но я вознамерилась их понять. Понять каждого и научиться говорить с каждым. Во время нашего двухнедельного путешествия в теплушке я отдалилась несколько от Эренбурга, подружилась больше всего с поэтом Гуревичем<sup>36</sup> и его молоденькой женой, а в основном тратила время на длиннейшие беседы со всякими случайными попутчиками. Помню пономаря Ростовской церкви, казачку, какого-то усатого фельдшера. Удивительно, как мало нужно, чтобы чужой человек вдруг почувствовал к тебе доверие и рассказал, как на духу, свою жизнь, – только умей сочувственно слушать.

Мы все тяжело переживали дорожные происшествия: налет белых казаков на наш вагон, пощечину, полученную комендантом вагона от дикого поручика-антисемита<sup>37</sup>.

Эренбурги уехали в Харьков к отцу, а я должна была ждать их в Ростове<sup>38</sup>. Заботу обо мне взяли на себя, очевидно, по просьбе И.Г., Мандельштамы<sup>39</sup> и Гуревичи.

Помню нелепую первую ночь. Меня поместили в хорошие по тем временам условия – в приемную администратора то ли кино, то ли ресторана. Там было, по крайней мере, тепло и стояла тахта. Только что я прилегла, как в комнату ворвалась раскрашенная девица и бросилась ко мне с криком: «Спасите, он убьет меня! Спрячьте меня!» Куда я могла ее спрятать? Но видя, что ее не преследуют, она тут же уселась на моей тахте и спокойно стала смотреться в зеркальце, тараторя все время о том, что ее хахаль приревновал к кому-то и с ножом погнался за ней. Я поняла, что передо мной проститутка и, несмотря на дику усталость, стала «изучать» эту разновидность рода человеческого, сравнивая ее с знакомыми образами из «Воскресения» Толстого, «Ямы» Куприна и рассказов Л. Андреева.

Вскоре пришла старуха, покрыла мою собеседницу темным платком и увела куда-то. Когда я рассказала позже эту историю И.Г., он ужаснулся.

Я ждала возвращения Эренбургов около месяца. Ростов произвел на меня отвратительное впечатление, он был переполнен белогвардейцами. Весь этот месяц прошел под знаком дружбы с Катей К.<sup>40</sup>, киевлянкой, которая входила в кружок «Куков» (Кружок учащихся киевлян)<sup>41</sup>. К нему принадлежали Борис Фельденкрайз, братья Довнар-Запольские (именем Води

<sup>35</sup> Из стихотворения «Болотный попик» (1905).

<sup>36</sup> Агатов Владимир Гариевич (Гуревич Вэлвл Исидорович; 1901–1966) – русский советский поэт-песенник. В 1920-х написал текст песни «Ох, уж повезло косому Ваньке» («Алеха жарил на баяне, гремел посудой шалман...»). Автор текста песен «Шаланды» и «Темная ночь» (1942) – написаны в Ташкенте, куда Агатов попал из-за ранения, и где в этот момент шли съемки фильма «Два бойца». В 1949 г. репрессирован и до 1956 г. находился в лагерях.

<sup>37</sup> 1919 [сер. окт. ст. ст./кон. окт. н. ст.]. Хазина Н.Я. – Мандельштаму О.Э. «Милый дружок! Получила 13 октября телеграмму, отправленную 18 сентября. Здесь холодно и очень беспокойно. Страшно волнуюсь, как вы проедете. Здесь ходят всякие страшные слухи о дороге, я очень трушу и волнуюсь» (Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. М., 2011. т. 3. с. 606).

<sup>38</sup> Ядвига вместе с Эренбургами доехала до Харькова. Исходя из средней скорости поездов в 1919 г. 15–20 км/ч и с учетом стоянок, общее время пути из Киева до Ростова-на-Дону должно было составить примерно 50–65 часов (~2,5 суток).

<sup>39</sup> Ошибочное воспоминание. Братья Мандельштамы были уже в Крыму.

<sup>40</sup> Екатерина А. Козина, поэтесса.

<sup>41</sup> Возник, видимо, осенью 1915 г. О КУКе писали многие, например, Ада Львовна Войтоловская (1902–1990): «В Киеве

Д.-З. названа одна из улиц Киева)<sup>42</sup>, Миля Казаков, Катя Трощенко<sup>43</sup>, Катя К<озина>, Алеша Селивановский<sup>44</sup> и я.

Катя первая указала мне на «ложное положение», в котором я находилась. Она предупредила, что люди будут плохо обо мне думать (и, по ее словам, «будут правы»), уговаривала меня не ехать в Крым, остаться в Ростове. Катя была старше и, вероятно, умнее меня, но была очень осторожна в жизни, считалась с мнением даже тех людей, которых презирала в душе. Я была беспечна, безудержна и умела проходить мимо моралистов с их ординарным мышлением и мещанскими предубеждениями. Я уверяла Катю, что эти подозрения неосновательны.

– Но люди думают иначе, – стояла она на своем.

– Я не хочу и не буду с этим считаться.

накануне революции существовал так называемый КУК (Киевский ученический кружок), вошедший в историю революционного движения. Он состоял из молодежи лет на пять старше нас. Дома по субботам собирался "Нео-кук", куда вошли и многие товарищи из "старого" КУКа: братья Довнар-Запольские, братья Казаковы, Миша Каган, Таня Дзивиловская, Петро Антропов, Сережа Тутковский, Володя Штейн и другие. Ядром "Неокука" были наши сверстники, девушки и юноши лет шестнадцати-семнадцати: Лёня Балабанов, Надя Эйшискина, Боба Кранц, Абраша Пекерский, братья Горелики, Саша Константиновский, Андрей Шавыкин, Катя Трощенко, Нюся Бескина, Сережа Палей, еще многие и многие. Круг наш не был ограничен, каждую субботу приходили все новые и новые товарищи. Тогда речи о доверии и недоверии быть не могло. Подбирались люди, для которых будущее революции было всем. Но и непримиримой политической нетерпимости между нами пока не было. Обычно каждую субботу у нас происходили собрания с докладами по политэкономии, истории социализма, тактике революции с информацией о ходе революции и борьбе партий. Шумные дебаты, жаркие дискуссии. Всем нам тогда казалось, что от того, как мы решим иной вопрос, зависит судьба не только русской, но и мировой революции. Масштабы наших ролей были для нас полностью сдвинуты. Киев тогда был котлом страстей и чехардой властей. Часть товарищей уходила в подполье при подходе белых, как и отец, часть оставалась и приняла участие во всеобщей забастовке учащихся при денкиныхцах. Большинство же ушло в Красную Армию, в молодежные дружины или в отряды самообороны. А до тех пор дебатировались всевозможные вопросы, которые щедро и беспощадно подбрасывала революция. Все надо было решать незамедлительно. Писали и читали стихи и поэмы, строили проекты создания городов-садов и коммун-общежитий или, взявшись за руки, шеренгами шагали по мостовым весеннего Киева под декламацию стихов Владимира Маяковского, только что проникших к нам не в печати, а в устной передаче товарищей, приехавших из Москвы. Помню, как однажды папа, возмущенный нашим шумом, зашел и резко сказал: "Идет гражданская война, а вы дурачитесь". Дело в том, что после серьезной части наших собраний, когда мы до хрипоты спорили о судьбах человечества, частенько переходили в большую комнату с роялем, где начиналось то, что называли "головотяпской частью". Один из наших друзей, Леля Кагна, рабочий с завода Гретера (ныне завод "Большевик"), спокойно ответил папе: "Вы правы и не правы, Лев Наумович, скоро пробьет час для каждого из нас, и мы так же весело пойдем на смерть за свои убеждения и за революцию, как поем сейчас". Он не ошибся. Через несколько недель, когда денкиныцы подходили к городу, из-под Белой Церкви привезли трупы убитых в боях курчавого Лели Кагны и страстного оратора-большевика белокурого Славы Довнара, которого мы называли "Нарцисс". А за ними ушли из жизни друзья раннего детства – комсомолец Борис Кранц, естествоиспытатель, влюбленный в свою науку и лабораторию, расстрелянный денкиныцами, когда они ворвались в Киев на семь дней, со второго по девятое октября 1919 г. В результате этой кровавой недели выросло молодежное кладбище на 20 тысяч могил. Погиб и Лёня Балабанов, одареннейший романтик и один из организаторов киевского комсомола. На фронте против белополяков он заболел сыпняком и умер в неполные 19 лет» (Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. Сыктывкар, 1991. с. 16–17).

<sup>42</sup> Довнар-Запольский Всеволод Митрофанович (1898–1919) – в 1917–1919 гг. один из руководителей киевской организации большевиков и отрядов красной гвардии. После эвакуации Киева прибыл для подпольной работы в Гомель, где умер от сыпного тифа. Довнар-Запольский Вячеслав Митрофанович (1900–1919) – воевал в рядах Красной армии, погиб на фронте. Ниже Ядвига переставляет причины смерти у братьев.

<sup>43</sup> Трощенко Екатерина Дмитриевна (18.11.1902, Киев – июнь 1944) – литературный критик, литературовед. Из рабочей семьи. Писала стихи. После окончания школы работала в райкоме комсомола. Училась на литературном отделении этнологического факультета 1-го Московского университета (1925–1930). Одновременно работала в журнале «Смена», где появились ее первые публикации. Печаталась как профессиональный литературный критик с 1929 г. (журналы «Октябрь», «На литературном посту», «Красная новь», «Литературная газета»). В 1929 г. публиковалась у О. Мандельштама в «Московском комсомольце». Принадлежала к группе РАПП. В августе 1936 г. исключена из партии и из Союза писателей в ходе кампании, сопровождавшей судебный процесс над «антисоветским объединенным троцкистско-зиновьевским центром». Вместе с мужем приехала в Воронеж осенью 1939 г., преподавала русский язык и литературу в средней школе, читала курс лекций по истории советской литературы в Воронежском государственном пединституте. Осенью 1941 г. переехала с мужем в Саратов, где работала в редакции газеты «Коммунист». Позднее была отозвана в Москву для руководства литературно-критическим отделом в газете «Литература и искусство». В 1943 г. редактор книги поэм И.Г. Эренбурга «Свобода». По рассказам Ядвиги, Трощенко была сбита машиной в 1943 г. и через полгода умерла в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище (указ. д. р.: 1903).

<sup>44</sup> Селивановский Алексей Павлович (1900–1938) – литературный критик, журналист. Один из видных деятелей РАПП. В 1931–1932 гг. – главный редактор «Литературной газеты». В ряде статей резко нападал на И. Эренбурга. Погиб в годы репрессий.

Когда много лет спустя я рассказала И.Г. об этих разговорах, он коротко сказал: «Я не допустил бы, чтоб ты осталась».

Из Ростова мы уехали на пароходе «Возрождение», затем пересели на катерок «Русь»<sup>45</sup>. В дороге я познакомилась и много говорила с чахоточной еврейской девушкой, и она, узнав, что я еду в Феодосию, где буду искать работу, предложила давать уроки ее братишке, который не ладил с арифметикой и русской грамматикой. Это мне пригодилось впоследствии.

И вот мы в Коктебеле<sup>46</sup>.

Максимилиан Александрович Волошин, его мать Елена Оттобальдовна<sup>47</sup>, его подруга Татьяна Давидовна<sup>48</sup>, которую все звали Татидой, жили на втором этаже; внизу две комнаты занимали Мария Павловна Кудашева<sup>49</sup> (ставшая впоследствии женой Ромена Роллана) с трехлетним сынишкой и матерью-французенкой, не знавшей ни слова по-русски. А приехали в Коктебель Эренбурги, братья Мандельштамы и я, остальные наши спутники отсылались<sup>50</sup>.

Рядом с матерью, носившей мужскую одежду, М.А. выглядел женоподобным, несмотря на крупную величественную фигуру. Очевидно, он, как комедианты Грэма Грина<sup>51</sup>, играл задуманную роль, роль «олимпийского бога, венчанного полевыми цветами». Он носил длинную белую вышитую по подолу хламиду, подпоясанную крученым шелковым шнуром с кистями, и венок на пышных кудрях. Его покровительственная и вместе елейная манера, цепкий масляный взгляд создавали впечатление какой-то фальши и были неприятны мне. У меня сложилось мнение, что у И.Г. и М.А. не было настоящей близости, их объединяло «ремесло» и общий круг знакомых.

Е.О. (Пра, так все ее звали за глаза) была суровой женщиной (позже я поняла, что, может быть, она относилась к нам по заслугам: почему-то не пришло в голову ни Любе, ни мне предложить ей свои услуги по хозяйству – ведь она для нас готовила. Впрочем, может быть, мне изменяет память, может быть, она отклонила нашу помощь). М.А. относился ко мне добродушно-покровительственно, но я, очевидно, не интересовала его. Перед О.Э. я благоговела, понимая, что он гений, с А.Э.<sup>52</sup> отношения были товарищеские.

Я любила, когда И.Г. просил О.Э. читать стихи. Как сейчас вижу его приподнятую голову с торчащим хохолком, красиво изогнутый профиль и слышу страстную, патетическую мелодию: «Я изучил науку расставанья...». Главной моей отрадой была богатейшая библиотека М.А., в которой я ночевала первую ночь и к которой в дальнейшем имела беспрепятственный доступ. У меня разбегались глаза в этом величественном помещении. Вначале я набросилась на французские стихи (Верлена, Рембо, Аполлинера), но Люба как-то посмеялась над моим

<sup>45</sup> Вероятный маршрут: выход из Ростова-на-Дону по реке Дон в Азовское море, затем вдоль Крымского полуострова с заходом в Коктебельскую бухту. С учетом скорости грузопассажирских пароходов того времени: 8–10 узлов (15–18 км/ч), время в пути составило 30–36 часов (~1,5 суток).

<sup>46</sup> «Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка Иезекииля. Пришла мать Волошина, Пра, и его оборвала: "Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих историй..." Она принесла сковородку с картошкой» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 301).

<sup>47</sup> Волошина-Кириенко Елена Оттобальдовна (урожд. Глазер; 1850–1923) – мать М.А. Волошина. В 1893 г. приобрела участок земли в Коктебеле. В 1901–1913 гг. в два этапа происходило строительство ставшего знаменитым дома Волошина,

<sup>48</sup> Цемах Татьяна Давидовна (1890–1943) – сотрудница Карадагской биостанции, поэтесса. В 1920-е гг. уехала в Германию, затем вернулась в СССР. Работала по основной профессии – врачом-бактериологом.

<sup>49</sup> Кудашева Мария Павловна (урожд. Кювилье; 1895–1985). Мать – Мекка Кювилье, сын – Сергей (1917–1941).

<sup>50</sup> Волошин М.А. – Гроссману Л.П. 5/18.11.1919. «Дом наш полн: с нами зимует одна моя давнишняя приятельница: французская поэтесса (очень талантливая – Майя), теперь княгиня Кудашева (с семьей), Ася Цветаева (сестра Марины). Пока живет Мандельштам, но скоро собирается ехать в Одессу» (Волошин М.А. Собрание сочинений. т. 12. Письма 1918–1924 / Сост. А.В. Лавров; Подгот. текста Н.В. Котрелева, А.В. Лаврова, Г.В. Петровой, Р.П. Хрулевой. М.: Эллис Лак, 2013. с. 268).

<sup>51</sup> Имеется в виду роман Г. Грина «Комедианты».

<sup>52</sup> Мандельштам Александр Эмильевич (1892–1942). Эренбург вспоминает его как человека доброго, вполне реального, «который не раз помогал и своему брату и нам» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 305).

произношением, и я сразу бросила французский, стала читать русских поэтов и прозаиков 20 века. Видя мою любовь к книге, Люба часто, смеясь, предсказывала, что я буду «ученой женщиной».

Мы заняли две комнаты в первом этаже, рядом с Майей, через коридорчик. Мне нравилась Майя. Нравилась ее внешность: точеное личико, тусклые волосы, подстриженные коротко и висевшие прямыми прядями, простая, скромная одежда. Зимой она надевала тулупчик, валенки, пуховой платок, варежки. Впрочем, одеваться она не умела, летом носила какие-то бесформенные платья. Она почти не улыбалась, не смеялась, но была своеобразно красива. Потом я поняла, что вся ее стать была продуманным кокетством. Маленькая и худенькая, она казалась беззащитной, но обладала сильной волей и решительным характером. И.Г. часто подшучивал над ней, повторяя: «Это все для ребенка, это все для ребенка!» Он не доверял ее материнским чувствам. И правда, материнство как-то не шло Майе. Макс относился к ней дружески и всегда целовал, прощаясь вечером.

## 1920. Феодосия, Коктебель. Тифлис

Я сказала И.Г., что отправлюсь в Феодосию и буду искать работу. Он поставил условие: выходные дни я буду проводить в Коктебеле. И я ушла. Не помню, каким образом я познакомилась с моей будущей хозяйкой (вероятно, по рекомендации кого-нибудь из знакомых М.А.), забыла ее имя, фамилию, адрес. Она предложила мне заниматься с ее дочкой немецким языком. Оплата шла натурой: комната (вернее, кровать в ее комнате), завтрак и вечерний чай<sup>53</sup>. А за обед я договорилась давать уроки братишке моей спутницы. Хозяйка моя была немка, не знаю, зачем ей понадобилась репетиторша (вероятно, затем, чтобы познакомиться с М.А., чего она и добилась с моей помощью). Помню, она была придирчива и капризна, сурово меня отчитывала за какие-то пустяки. Я отмалчивалась.

А в субботу после полудня я отправилась в Коктебель, пешком, конечно, так как никакого транспорта между Феодосией и Коктебелем тогда не существовало. Отшагав 18 километров, к вечеру я приходила к Эренбургам. Так прошло месяца два. За это время Эренбурги, помнится, однажды приезжали в Феодосию на вечер В.В. Вересаева. Он жил в Коктебеле, а в Феодосии устроил читку своей новой пьесы<sup>54</sup>. Собралось много народу в помещении какой-то столовой, которая по вечерам превращалась в клуб. В.В. читал прочувствованно, иногда утирал слезы. Он был мягкий человек, добрый и сострадательный. Из всей пьесы (была она пятиактная, растянутая и скучная) мне запомнилась одна деталь: сестра милосердия умела по запаху больного отличать сыпной тиф от возвратного. Публике пьеса не понравилась, стали расходиться. Под конец остались одни знакомые. В.В. был очень огорчен. Помню, как нежно И.Г. его утешал.

Однажды вечером я пришла в Коктебель оживленная, радостная, так как почувствовала себя счастливой среди хороших людей. Вечное недовольство мадам, ее подозрительность, сухость меня замучили. Я не жаловалась, так как не видела выхода. Но вдруг меня поразили потеплевшие глаза И.Г., его участливое внимание к моим словам. Потом он задумался. Когда я прилегла отдохнуть в своей комнате, он вошел, сжал мне руку и сказал: «Завтра поговорим».

Утром И.Г. предложил мне бросить хозяйку и остаться в Коктебеле.

– А что я буду делать? – спросила я.

У него уже был готов план. Надо отправиться в деревню (там жили одни болгары), обойти все дома, предлагая свои услуги в качестве репетитора. Дети учились в русской школе и знали русский язык. В этот же день я обошла все дома. В одном из них мне за урок предложили маленькую комнату (я подумала, что это лучше, по крайней мере, дети будут приходить ко мне, а не я к ним); другие родители согласились платить молоком и яйцами.

Итак, все наладилось. Я распрощалась со своей хозяйкой и поселилась в деревне. Эренбурги уже давно пытались наладить свое хозяйство: завели мангал, Пра снабдила их посудой, а за продуктами ходили в деревню, рыбу покупали на берегу. И.Г. любил топить печку (голландку); когда оставался один уголь («жар»), варил в медной посуде кофе на молоке по рецепту хозяйки нашего киевского кафе. Он называл его «султанским» (потому что на молоке).

Я обычно занималась с ребятишками все утро, затем отправлялась в дом Волошина. Готовили обед мы все втроем по очереди. Надо было колоть дрова, топить печку, разжигать углями мангалку и что-нибудь варить. И.Г. хозяйничал очень забавно, поскольку раньше,

<sup>53</sup> «Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова; зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного, неумного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца. <...> Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал; получалось смешно, но я не смеялся. Иногда мы подолгу беседовали...» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 302–303).

<sup>54</sup> 10.05 (27.04).1920. «Вересаев выступает во ФЛАКе с чтением своей драмы "В священном лесу" (среди слушателей Эренбург и Я. Соммер)» (Дневник М.А. Волошина – <https://voloshin.rhga.ru>).

кроме макарон, варить ничего не умел: каждые пять минут он озабоченно спрашивал, когда нужно солить кашу, как чистить рыбу. Мы с Любой были так же невежественны в области кулинарии. Конечно, еда была скудная.

И.Г. писал стихи и читал мне каждое новое стихотворение. Вся книга «Раздумия» создана у меня на глазах.

Между тем после холодной и снежной зимы, необычной для Коктебеля, пришла весна. Как прелестны были невысокие зеленеющие холмы в окрестностях дачного поселка! Летом, когда они стали бурными, так как солнце выжигало траву, И.Г. говорил, что ландшафт этот представляется ему преддверьем Дантова ада, но мне это сравнение не нравилось: я не находила ничего зловещего в мягких, округлых линиях холмов<sup>55</sup>.

Весной мои ученики стали отпадать. Тут у И.Г. появилась хорошая идея – организовать детскую площадку<sup>56</sup>. Как всегда, ему это удалось. В Феодосии какой-то Крымсоюзбанк взялся ее финансировать, то есть платить зарплату (тогда это называлось «жалованьем») мне как заведующей и Эренбургу как воспитателю (в таком назначении сыграла свою роль национальность). Фактически роли были распределены наоборот, что было совершенно естественно.

Мы даже не ожидали, что к нам явится такая масса ребят, дошколят и школьников. Для детплощадки был выделен пустовавший домик на самом берегу моря, там поставили топчан, стол и прибили по моей просьбе несколько полок. Организацией площадки некоторое время занималась комиссия, созданная Марией Гермогеновной Вересаевой. Вся она состояла из каких-то страшных старух, которые чуть меня не заклевали, заподозрив во мне большевичку, единственно на основании тех книг, которые я рекомендовала для чтения на площадке. У них были свои излюбленные авторы детских книг: Л. Чарская<sup>57</sup> для школьников, Кл. Лукашевич<sup>58</sup> и ей подобные для маленьких. Мы перестали с ними считаться и сами составили расписание дня: решили занимать детей лепкой из глины, рисованием, песочными и подвижными играми, готовить к постановке того же «Соловья», рассказывать сказки и читать стихи (в то время я их знала множество). Где-то достали (вероятно, в библиотеке М.А., где же еще?) книжку К. Чуковского<sup>59</sup>, и я читала детям наизусть его чудесную сказку. Неожиданно для нас ребята сами без всяких подсказок стали лепить из глины и Ваню Васильчикова, и Крокодила, и маленьких крокодильчиков<sup>60</sup>.

Я заботилась только о том, чтобы эти фигурки сохранились, чтобы дети их не смяли.

Когда впервые их увидел И.Г., он пришел в восторг; позвал Любу, она тоже похвалила. Мы осторожно перенесли скульптурки на полки домика, а когда они высохли, И.Г. их раскрасил, и они выглядели очень эффектно. Со временем дети запомнили множество стихов и читали их наизусть, заполнили все полки своими изделиями; рисунки их мы отбирали и лучшие вешали на стенах домика.

<sup>55</sup> Из письма Ядвиги внуку Григорию, который в это время служил в армии в горах: «На меня горы производили всегда удручающее впечатление. Мне мила была холмистая, хоть и выжженная солнцем местность вокруг Коктебеля и под Феодосией, которую И.Г., к моему удивлению, воспринимал как преддверие Дантова ада. Но когда мы очутились на Кавказе, проезжали по Военно-Грузинской дороге и позже с Андреем [старшим братом] в Азербайджане я просто заболела – до того меня давили горы» (28.06.1974).

<sup>56</sup> 2.05 (19.04).1920. «На заседании Культурно-просветительной Лиги при Коктебельском кооперативе (председатель Н. Манасеева, секретарь А. Новицкий) И. Эренбург предлагает устроить детскую площадку – открытую часа по три в день. Г. Стамов заявляет, что может собрать группу детей, даже с платой на расходы по устройству» (Дневник М.А. Волошина).

<sup>57</sup> Чарская Лидия Алексеевна (1875–1937) – детская писательница и поэтесса.

<sup>58</sup> Лукашевич Клавдия Владимировна (1859–1931) – детская писательница и педагог.

<sup>59</sup> «Ваня и Крокодил». Приложение к журналу «Нива» за 1917 г. или первое книжное издание: Приключения Крокодила Крокодиловича. Пг., 1919.

<sup>60</sup> 1-я половина июня 1920. «Эренбург и Соммер устраивают детскую площадку на берегу против дачи Волошиных, занимаясь с 20–25 детьми лепкой из глины, рисованием, чтением стихов и сказок (Чуковского, Андерсена), подвижными играми (среди детей – Д. Стамов)» (Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина : летопись жизни и творчества, 1917–1932. СПб.; Симферополь, 2007. с. 100).

Это и был мой дом, я спала по-спартански на топчане без матраца, иногда здесь же варила обед, и Эренбурги приходили ко мне.

Они тоже переселились в отдельный домик, направо от дома Волошина, если стоять лицом к дому (а мой был налево от него). Питалась я вместе с ними на прежней основе: очередность в дежурстве соблюдалась неукоснительно.

Их ближайшими соседями была семья Гинцбургов<sup>61</sup>, очень милых и интеллигентных людей, уже довольно пожилых (может быть, только с точки зрения двадцатилетней девушки), не чаявших души в своей пятилетней<sup>62</sup> дочке Арусе<sup>63</sup>. Она попросила Любу давать ей уроки рисования. И учительница, и ученица работали с большой охотой. Люба справедливо гордилась явными успехами малютки. Я помню одну акварель Аруси, она была прелесть как хороша. Но увы! Родители вскоре отказались под благовидным предлогом от этих уроков: им не понравилось, что картинки их дочери были далеки от реализма.

Сколько времени существовала площадка, не могу припомнить. Что заполняло нашу жизнь помимо нее? Приезжали разные люди, среди них Анастасия Ивановна Цветаева (но, может быть, это было еще зимой), какие-то юноши; М.А. возил нас в Судак (помню, что мы пили там молодое вино, похожее на квасок, но от него у всех отнялись ноги); купание в море, собирание коктебельских камешков на берегу, прогулки и, конечно, чтение. Мы часто встречались с Вересаевыми.

Но грянула беда!

Люба заболела сыпняком, и крестьяне перестали посылать к нам детей. Уехать опять в Феодосию я не могла, И.Г. был совершенно беспомощен, у него болело сердце. Всю тяжесть хозяйственных забот (а доставать продукты становилось все тяжелей) и уход за больной – она долгое время была без сознания – я взяла на себя. И.Г. приглашал врачей, говорил с ними, заботился о лекарствах, я проводила бессонные ночи и днем была на ногах. Викентий Викентьевич<sup>64</sup> хвалил меня как сестру и сиделку. С чистой совестью я могу сказать, что ходила за Любой самоотверженно. Когда она уже стала поправляться, выяснилось вдруг, что у нее нет чистого белья. Я просила знакомых соседок в деревне взять его в стирку, но никто не приходил. Тогда я сама потащила к ним тяжелый узел, но вынуждена была нести его обратно (боялись сыпного тифа). Недолго думая, я тут же взялась за работу. Стирать пришлось целый день. И.Г. был так потрясен, что даже в своих воспоминаниях написал: «Ядвига с утра до вечера стирала белье»<sup>65</sup>.

Люба стала поправляться: она бурно радовалась жизни, была мила, добра, весела и так забавна, когда простодушно рассказывала о чертях, с которыми встречалась, беседовала, даже участвовала в их проделках (осложнение после тифа). А со мной делалось что-то неладное: видимо, сказались бессонные ночи, вечное напряжение, переутомление – вот тогда и случилась эта глупая попытка самоубийства: ночью бросилась в море. М.А. вытащил меня<sup>66</sup>, а сбежавши-

---

<sup>61</sup> Гинцбург Моисей Исаакович (псевдоним – Даян Моисей Исаакович; 1877–1940) – советский философ, критик, психолог, журналист, автор статей по еврейской истории.

<sup>62</sup> Ядвига путает двух сестер. Арусе в это время было уже тринадцать лет, но у нее была четырехлетняя сестра.

<sup>63</sup> Аруся – Раиса Моисеевна Гинцбург (1907 (д. р. по надгробию: 1908) – 1965) – поэтесса, переводчица. Автор воспоминаний о Волошине.

<sup>64</sup> «Когда Люба заболела сыпняком, Вересаев к нам часто приходил, и я с ним подолгу беседовал» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 305).

<sup>65</sup> «Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига; но она сама была хрупкой, двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. <...> Тоненькая смуглая Ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 305–306).

<sup>66</sup> 1-я декада июля 1920. «Соммер совершает попытку самоубийства, бросившись ночью в море; М. Волошин ее вытаскивает, а затем, в присутствии Эренбурга и Козинцевой, пытается с помощью пассов снять ее тоску, развязав астральные узлы. Мандельштам и Эренбург решают пробираться из белого Крыма в советскую Москву» (Труды и дни Максимилиана Волошина. с. 101).

еся соседи внесли наверх, в кабинет Волошина (боялись взволновать Любу). Там я отсыпалась два дня. И.Г. пришел утром, принес кофе. Я лежала лицом к стене, молчала, мне было стыдно. Он долго уговаривал меня повернуться, посмотреть на него, потом беспомощно сказал: «Но ведь ты голодна, все равно выпьешь кофе, так сделай это лучше при мне». Я рассмеялась. Он спросил: «Почему твоя подушка очутилась на берегу? Нам ее принесли сегодня». Я не знала, забыла, зачем и почему взяла ее с собой. Очевидно, дома у меня не было и мысли о самоубийстве: кто же идет топить с подушкой? Мы поговорили, посмеялись, потом я крепко уснула. А вечером ко мне пришли Эренбурги и М.А. Он был теософом и вздумал вылечить меня своеобразным способом: стал делать надо мной «пассы», разглаживать «астральные лучи», чтобы успокоить мою «смятенную душу». Как сейчас вижу эту сцену: я лежу, М.А. очень старательно разводит надо мной руками, Люба серьезно и внимательно следит за этой процедурой, а И.Г. незаметно усмехается. Но моей попыткой самоубийства и чертями Любы дело не ограничилось. Безумье охватило и Майю, она часто устраивала истерики<sup>67</sup>.

А И.Г. был занят напряженной внутренней работой – переоценкой ценностей. Главный удар по его прежним политическим убеждениям нанес Сергей Эфрон<sup>68</sup>. Он заехал в Коктебель еще зимой или ранней весной. Я очень помню этот вечер. Он сидел с И.Г. возле стола, а мы с Любой в другом конце комнаты расположились на кровати, вытянув ноги и опершись о стену. Эфрон рассказывал несколько часов о белой армии, о страшном ее разложении, о жестоком обращении с пленными красноармейцами, приводя множество фактов. Он хорошо узнал, что представляет собой эта «лебединая стая». Чувствовалось, что все его мировоззрение рушилось, что человек опустошен и не знает, как будет жить дальше. Мы разошлись молчаливые и подавленные.

Вот тогда И.Г. стал склоняться к другому берегу. Болезнь Любы сначала задержала, потом обострила этот процесс. Ему было трудно, ведь никто из окружающих не мог облегчить хоть немного его внутреннюю работу. Да и не такой он был человек, чтобы нуждаться в посторонней помощи. Единственный, с кем он мог откровенно говорить на эту тему, был наш сосед Гинцбург, настроенный просоветски. Они иногда целые вечера проводили на террасе за разговорами. По отдельным словечкам, высказываниям того и другого я понимала, что происходит с И.Г., и тихонько радовалась.

Здесь естественно возникает вопрос, почему я не называю М.А.: ведь он был другом И.Г., обоим было необходимо решить для себя главные проблемы времени, определить свое отношение к враждующим силам. Они, безусловно, и беседовали неоднократно о происходивших событиях. И.Г. мне об этих беседах не рассказывал и вообще избегал со мной говорить на политические темы: его, кажется, раздражала моя беззаветная вера «в большевиков». Но вскоре беседы прекратились. Помню, что уже значительно позже И.Г. высказал свое мнение, что М.А. с любой властью умеет ладить и внушать уважение к себе.

<sup>67</sup> Череда попыток свести счеты с жизнью среди жительниц Коктебеля не могла не вызвать иронических оценок. Из письма М.А. Волошина С.Я. Эфрону от 28 июня / 11 июля: «Жизнь коктебельская идет обычными сериями малых катастроф и великих паник. <...> Тонула Майя... Не топила, но поплыла в море за дровами для Эренбурга, начала тонуть и вопить: Макс! Макс! Это было в 5 час<ов> утра. Я вскочил. Прибежала Ева [Ева Самойловна Бобровская (Фригоф; 1885–1956) – супруга академика и писателя В.А. Обручева], дубасила в дверь ... К Майе приплыли я и Варвара Павловна [Безобразова] и спасли ее. В результате оказалось только, что мы все втроем купались вместе без костюмов, и Майя, голенькая, висела у меня на шее и истерически хохотала. Самое же позорное было то, что в том месте, где она тонула, можно было свободно стоять на ногах, т<ак> к<ак> была отмель от речки. “Барыня еще поживет”... Выяснилось тоже, что, когда она тонула, она все время зорко следила, достаточно ли я быстро бегу, и обиделась, т<ак> к<ак> ей показалось, что я велел Еве затворить за собой дверь. Ева блаженствовала от романтических переживаний, лежала весь день с сердцбиением и писала дневник. На следующий день она обличала меня за Эренбурга, но была переубеждена и пошла обличать его. Потом пришла обличать Пра, но Пра кратко предложила ей переехать на другую дачу. Теперь по ночам можно слышать чьи-то девичьи вопли: “Прошу в моей смерти Эренбурга не винить...” и подражание всплеску воды. Топиться от Эренбурга стало очень в моде» (Волошин М.А. т. 12. Письма 1918–1924. с. 315–316).

<sup>68</sup> Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941) – муж Марины Цветаевой.

Каковы же были отношения обоих поэтов в Коктебеле? После возвращения из Феодосии я не замечала никакой близости обеих семей. М.А. никогда не заходил в наши комнаты, не было также ни одного вечера, который мы провели бы «наверху». Ни зимой, ни летом. Иногда собирались в библиотеке, когда были гости (О.Э., А.И. Цветаева), но случалось это редко. Совместных прогулок по Коктебелю не было (но в окрестности ездили). Мне кажется, что охлаждение между И.Г. и М.А. наступило еще в то время, когда я жила в Феодосии. По приезде я немало была удивлена, слыша, как досадливо и насмешливо И.Г. отзывается о картинах Волошина. Он говорил, что эти акварели – дешевая продукция, а не искусство. Да и стихов его И.Г. не хвалил. Думаю, что самолюбивого Волошина обижало то явное предпочтение, которое И.Г. оказывал стихам Мандельштама.

В начале лета произошла ссора между Е.О. и И.Г. Если бы в нынешнем 76-м году в мои руки не попала их переписка<sup>69</sup> (в пределах дома), я бы о ней не вспомнила. До того незначительной и пошлой казалась мне вся эта история, что я не придавала ей никакого значения и «прошла мимо». Потому, вероятно, и забыла.

С удивлением узнала из писем, что я играла какую-то роль в этой ссоре (Е.О. пишет, что не хочет «подвергать неприятным объяснениям Л.М. и Я.И., которая взяла на себя в защиту Вас подвиг героической лжи и одна пострадала, в чем я чувствую себя глубоко перед ней виноватой»). Как ни пыталась я восстановить в памяти подробности ссоры, не могла ничего вспомнить. Могу только предположить, что я взяла на себя вину за оставленные ночью на веранде кастрюльки Е.О., но уж очень не вяжется эта смешная роль «девочки для битья» с высокими словами о «подвиге» и «героической лжи». Во всяком случае, ссора привела к переселению Эренбургов в маленький двухкомнатный коттедж недалеко от дома Волошина<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> Хранится в волошинском фонде ИРЛИ (СПб.); в 1970-е В.П. Купченко передал тексты этих писем Б. Фрезинскому (Минувшее-17. с. 166).

<sup>70</sup> 1-я половина июля 1920. «Ввиду участвовавших краж по дачам Е.О. просит Эренбурга убирать на ночь вещи (взятые, в основном, у нее) с террасы. Поскольку эти просьбы не действуют, она однажды уносит кастрюльку, затем таз – однако, ничего не меняется». 19 (06).07.1920. «В ночь на 7 июля Е.О., в воспитательных целях “крадет” с террасы Эренбурга кресло, умывальник и молоко». 20 (07).07.1920. «Обнаружив на сей раз пропажу вещей с террасы, Эренбург днем заявил, что у них с женой украдены также (“на много тысяч”) их собственные вещи». ок. 29 (16).07.1920. «Е.О. признается Эренбургу в своей мистификации, что вызывает его жестокую обиду» (Труды и дни Максимилиана Волошина. с. 101–102). «Эренбург передает Е.О. через Майю Кудашеву записку следующего содержания: “Ввиду проявленного Вами остроумия, которого мы понять не в силах, тем более в данном состоянии, мы принуждены покинуть Ваш дом. К сожалению, у меня сейчас нет денег. Я оставляю Вам в обеспечение золотую брошку, которую Вы получите от Майи. Будьте любезны указать, сколько я Вам должен за комнаты, а также за разбитую чашку и 1 тарелку, и унесенную (Вами?) кастрюльку. Теперь назначьте время, когда Вы придете принять инвентарь, дабы я мог в это время быть вне дома и избежать встречи с Вами и с Максом, ибо это разрушительно действует на наше здоровье”. В тот же день он переселяется со своими спутниками на дачу Харламова». На что последовал ответ Е.О.: «Ввиду того, что 6 июня вместе с моими исчезнувшими вещами, в краже которых я созналась, было украдено, как Вы жаловались, на много тысяч Ваших вещей и Ядвиги Иосифовны, а украсть явно могла опять-таки только я, считаю все расходы с Вами поконченными. Что касается инвентаря, то могу принять его только от Вас лично, не желая подвергать неприятным объяснениям Люб<овь> Мих<айловну> и Яд<вигу> Ос<иповну>, которая взяла на себя в защиту Вас подвиг героической лжи и одна пострадала, в чем я чувствую себя глубоко перед нею виноватой» (Волошин М.А. т. 12. Письма 1918–1924. с. 318). И далее Е.О. отказывается как от денег, так и от приемки «инвентаря» (всегда верила гостям на слово) и желает Эренбургу «скорее прийти в нормальное состояние». Эренбург в записке (без обращения) настаивает на уплате и соглашается лично передать взятые вещи и книги М.А., но просит придти за ними к нему, так как «не привык входить в дом людей, оскорбивших его». ок. 30 (17).07.1920. «Е.О., посетив Эренбургов, пишет о нехватке тарелки, чашки, корзинки, рубашки М.А. “Две террасы и полки в шкафу загрязнены и закопчены до невозможности”, требует починки мангалка. За две комнаты с 16 июня по 16 июля с него причитается 3000 р. В ответной записке без обращения Эренбург просит прислать счет за утраченные вещи, на словах прося передать, что “ничего белиться и чиститься не будет”». ок. 31 (18).07.1920. «В трех записках б. д. Е.О. настаивает на возмещении и исправлении всех убытков, выставив, в заключение, счет в 19 000 р.». 7.08 (25.07).1920. «И. Эренбург пишет “г<оспо>же Волошиной” о получении ее счета и заверяет, что не позднее 1 августа поедет в город для продажи вещей и заплатит сполна. Считает все ее претензии способами унижить себя; прилагает 19 тысяч руб. Просит сообщить, сколько он “должен еще за ремонт скамеек, чистку уборной”, а также известить, что он возместил все убытки». 8.08 (26.07).1920. «В этот день (?) Е.О. пишет Эренбургу расписку в получении денег и подтверждает, что он никаких даров – “насилованных или добровольных” – от нее не принимал. (На об., между прочим, помета, что за 10,5 фунтов хлеба заплачено 2100 р.)». 1-я пятидневка авг. 1920. «Е.О. снова пишет Эренбургу, прося, чтобы дети с его площадки (человек 18–25) “не ходили к ней во двор за известной надобностью”, так как “очистка сортира стоит теперь тысячи”. Одновременно

Болезнь Любы заставила забыть об этих пустяках. М.А. помогал И.Г. доставать лекарства<sup>71</sup>, он и Е.О проявляли искреннее сочувствие и заботу о больной.

Когда опасность миновала, снова произошла ссора – теперь уже между И.Г. и М.А. (в первый раз он был нейтрален, хотя и сочувствовал матери). М.А. сказал что-то оскорбительное обо мне. И.Г. был взбешен и ответил очень резко, вроде того, что за эти слова он заслуживает пощечины<sup>72</sup>. Разыскав меня, И.Г. рассказал о столкновении. Таким разъяренным я его больше никогда не видела.

Дипломатические отношения опять были прерваны. Они восстановились позднее в связи с необходимыми хлопотами о спасении О.Э., попавшего в лапы белогвардейской разведки<sup>73</sup>.

---

Е.О. пишет на машинке (б. д.) заявление в Коктебельский Просветительный комитет, прося перенести детскую площадку в другое место, так как дети загадили отхожее место, лазят по деревьям, моют руки в бочке с водой, мешают утреннему купанию женщин» (Труды и дни Максимилиана Волошина. с. 102–103).

<sup>71</sup> Эрэнбург И.Г. – Sommer Я.И. Конец июня 1920. Коктебель – Феодосия, Константину Федоровичу, г-ну Богаевскому. Итальянская ул., дом Дуранде (для Волошина) Ядвига Иосифовна, Любе хуже. Вчера вечером у нея было 40°, сегодня утром 39,3, а в 1 ч. уже 40. Жар она переносит очень мучительно (боль в теле, тошнота). Вересаев вчера ничего не нашел, кроме расширения селезенки (он предполагает хроническое). Возможно, что это один из тифов. Посоветуйтесь, что делать, если Долгов не заедет. Говорят, что доктор Благая собирается сюда – ей комната готова. Здесь ничего нельзя достать, если придется поддерживать действие сердца, нет сулемы, камфары и шприца. Нужно пытаться раздобыть это в Феодосии. Также очень нужна клизма. Если нужно купить, с суммой не считайтесь. Поговорите с Благой и с Рах<иль> Саул<овной>... И.Э. (ИРЛИ ОР. ф. 562. оп. 6. № 285).

<sup>72</sup> Письмо Эрэнбурга было ответом на послание Волошина (июнь). В нем М.А. писал, что пребывание Эрэнбурга в Коктебеле «кончилось тем, чего я ожидал давно: ссорой со мной. С начала года я почувствовал, что раздражаю тебя всем строем своей души, понимал опасность и старался реже видаться. С летними жарами и с северо-востоком твое раздражение должно было разразиться. Предлог – совершенно случаен, так как ни в замысле, ни в исполнении маминой мистификации я участия не принимал. <...> Я тебя в свое время принял и полюбил со всеми колючими, резкими и нетерпимыми сторонами. При мне не раз они обращались на других. Из-за того, что сейчас они обращены на меня, я не изменю моих отношений к тебе. Моя дружба далека стороны сентиментальной, в которой мы глубоко чужды друг другу. По отношению к тебе она выражалась только реальными и действиями, и услугами, когда ты в них нуждался. Когда теперешнее наваждение пройдет, ты всегда найдешь во мне прежнюю действенную любовь. Что оно со временем пройдет, я не сомневаюсь, но, зная тебя, думаю, что не скоро, только после того как ты покинешь Коктебель и Крым. До свиданья. Крепко обнимаю тебя». Публикации данного текста имеют небольшие различия – сост. Последовал ответ Эрэнбурга: Начало июня 1920. <Коктебель>. «Я не считаю нужным отвечать на твое письмо. Я оставляю на твоей совести указание на реальные услуги. Отныне твоя “действенная любовь” тобою же приравнена к кастрюлькам, топору и проч<ему> “инвентарю” Ел<ены> Отт<обальдовны>. Верь, что с глубоким отвращением вспоминаю я о каждой обращенной к тебе просьбе. Впрочем, сие дело прошлое и писать сейчас об этом не стоит. Но вот что я должен тебе решительно и прямо заявить. То, что ты говорил обо мне и Ядвиге Иос<ифовне> Sommer – ложь и очень нехорошая. Я великолепно помню твои анекдоты о прикосновении к Гумилеву. Если человеку всепониomaющему и долготерпеливому позволительно прибегать в известных случаях к подобным урокам, то тем более мне – “колючему” и “нетерпимому”. Посему приглашаю тебя заняться иными темами и одновременно с “объятьями” и пр<очими> сладостями письма не расточать вещей стыдных и недобросовестных. Не “любви”, не “понимания”, но хоть известную долю порядочности» (ИРЛИ ОР. ф. 562. оп. 3. ед. хр. 1339. л. 1).

<sup>73</sup> Об этом воспоминания Эм. Миндлина «Необыкновенные собеседники» (М., 1968. с. 26–29), оспоренные Н.Я. Мандельштам. 10.08.1920. «Штаб Врангеля переезжает из Севастополя в Феодосию – для лучшего руководства десантами на Кубань. В этот день (?) Кудашева и Миндлин, придя к вечеру из Феодосии, приносят весть об аресте Мандельштама, прося помочь его освобождению. М.А. отнекивается, считая, что это простое недоразумение, и уступает только после прихода к нему, с той же просьбой, Эрэнбурга». «Напрасно я им доказывал, что сейчас я не могу ехать в Феодосию, т. к. у меня болит рука и я никого из влиятельных лиц в Добрармии не знаю. В конце концов было решено: я напишу под диктовку письмо начальнику контрразведки <...> и только подпишусь» (Дневник М.А. Волошина. с. 11–12). «Я хочу рассеять еще одну легенду – ту, что пустил Эрэнбург, – будто из врангелевской тюрьмы Мандельштама спас Волошин. На самом деле было так: до Коктебеля дошел слух об аресте Мандельштама, случившемся перед самым отъездом в Грузию (на первый транспорт он опоздал из-за ареста и потому поехал на дикой “азовской скорлупе”). Эрэнбург бросился к Волошину и с огромным трудом заставил его сдвинуться с места и поехать в Феодосию, чтобы спасти арестованного. В те годы, как и потом, впрочем, ничего не стоило отправить на тот свет случайно попавшегося человека. Связи у Волошина были огромные: он был местной достопримечательностью. Волошин проканителел несколько дней, а когда он явился в Феодосию, Мандельштама уже выпустили на свободу. Своим освобождением он обязан полковнику Цыгальскому, которому посвящена глава в “Шуме времени”. <...> Со слов Мандельштама я знаю, что Цыгальский отличался редкостной добротой, а Мандельштам научил меня больше всего ценить именно это качество в людях. Что же касается до Волошина, я думаю, что никакого обмана не было. Вернувшись, он просто сказал Эрэнбургу, что Мандельштам выпущен, а Эрэнбург решил, что вытащил его Волошин» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. с. 77–78).

И.Г. страстно захотел уехать из Крыма. Путь был только один – морем в меньшевистскую Грузию, куда уже отправились Мандельштамы, где были друзья-поэты. Они помогут уехать в Россию.

Между тем надвигалась осень, и когда Люба окончательно выздоровела, решение было принято. Все подготовил и организовал И.Г.

Незадолго до отъезда он стал просматривать наши документы. И тут вдруг обнаружилась моя непростительная неопытность. Среди бумажек, которые я отдала И.Г., оказалось удостоверение о том, что я работала инструктором Тео Киевского наробраза, на нем стояли подписи Эренбурга и Мандельштама. И.Г. возмутился: «Как вы могли, – сказал он мне, – сохранить и везти с собой такой компрометирующий документ через всю Украину, занятую белогвардейцами, где любой патруль мог вас обыскать и посадить нас всех как большевистских агентов?» Когда в Тифлисе И.Г. рассказал об этом О.Э., тот весь кипел от негодования и долго не мог простить мне этот промах. А я... да разве я думала о документах и разве могла что-нибудь предвидеть?

Надо сказать, что в доме Волошина мы как будто пользовались правом экстерриториальности. Ни одного солдата, ни одного офицера белой армии мы не видели, никто не проверял наших документов. И вообще за всю поездку проверка эта состоялась единственный раз, когда к нам в теплушку заскочили три белогвардейских казака. Они наделали много шума, нагнали страху, особенно пострадал при этом Исаак Моисеевич Рабинович, которого немедленно вывели из вагона якобы на расстрел. Помню, И.Г. стоял, держа в руках документы, дожидаясь своей очереди, а О.Э. обмирал от ужаса. Но до нас не дошло. И.Г., увидев, что казаков немного, вдруг предложил освободить для них большую часть вагона и этим положил конец шуму, ужасам и страхам<sup>74</sup>.

Наша поездка на Кавказ была рискованной. Мы погрузились на баржу с солью, что само по себе было опасно, тем более, что у нас был сломан руль; во время береговой проверки мы скрывались в трюме от белогвардейских охранников; мы пережили ночью сильный шторм, лежа втроем на крыше трюма под брезентом (все остальные прятались под ней). Долгой оказалась нам эта ночь!<sup>75</sup> И только когда стало слегка рассветать, и мы увидели далеко на горизонте похожие на тучи горы, появилась надежда на спасение<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> «В устном рассказе Я.И. Соммер были дополнительные подробности: «В наш вагон ворвались три казака – и сейчас помню двоих: один был огромный краснорожий детина в тулупе, другой – мрачнолицый офицер. Ворвались они с криком: “Жида, вылезайте с поезда!” Никто не пошевелился. Тогда они выкинули из вагона И. Рабиновича (у него была очень характерная еврейская внешность), а затем стали проверять у всех документы. Проверка шла медленно (только офицер был грамотный). Все были подавлены, и тут раздался человеческий вопрос: “А что вам нужно от нас?” Ответ был прост – нам нужно ехать в этом вагоне. – “А сколько вас?” – “Вот, трое”. Им уступили полвагона, и мы поехали. И. Рабиновича вернули живого; оказалось, что его не собирались расстреливать» (Минувшее-17. с. 167).

<sup>75</sup> «Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом, и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар – поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар. Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Потю соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии, и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвигу. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали. Пришлось пережить несколько неприятных минут: над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина: “Застыть, как соль”, – и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза. <...> Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и укрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная ночь. На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете. Мы пробовали уснуть, но это было невозможно – несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали. Самое неприятное

Зато как же мы радовались жизни, когда высадились в Сухуми! Капитан катера решил переждать, пока море успокоится, и целый день мы ходили по городу, любовались белыми виллами в густой зелени на возвышенностях, пальмами вдоль тротуаров. Захотели, конечно, отведать местных блюд и, минуя европейский ресторан, зашли в обыкновенную чайхану. Впрочем, пища там была не для наших «изнеженных» ртов (не желудков, так как туда она не попала): и суп, поданный в узкогорлом кувшине, и жаркое (местных названий я, каюсь, не запомнила) произвели такой же эффект, словно мы попытались проглотить пламя. Потти<sup>77</sup>, как водится, встретил нас дождем, потом мы ехали по железной дороге и, наконец, прибыли в Тифлис<sup>78</sup>.

Даже сейчас, когда прошло больше 50 лет, Тифлис мне представляется волшебной сказкой. Рестораны, рестораны, фуникулер, могила Грибоедова с рвущей душу надписью жены его Нины, музей с дивными старинными миниатюрами, турецкая баня, персидский базар; сазандари и опять же рестораны, где пьют вино из рогов. Незабываемое впечатление произвел праздник Шахсей-Вахсей<sup>79</sup>.

Хотя, живя впоследствии в Ленкорани (Азербайджан), я имела возможность из года в год, каждый раз на протяжении месяца, наблюдать Шахсей-Вахсей, первое впечатление от этого траурного праздника (в Тифлисе был его последний день) особенно четко врезалось в память. Если в Ленкорани мне бросалась в глаза осторожность, с которой молодые люди, в большинстве наемники, отмаливавшие грехи богачей, колотили себя цепями по спине или плоскими камнями по груди, то в Тифлисе я, напротив, отметила фанатизм стариков. Помню одного дряхлого мусульманина, который намеревался сечь себя саблей по темени. К нему бросились милиционеры-тюрки, взяли его под руки и стали почтительно уговаривать, чтобы он не рисковал жизнью. Старик, качаясь на слабых ногах, вырывался и плакал горькими слезами.

Еще бы! От него ускользал вожденный рай: по поверьям мусульман, тот, кто умрет в этот день от удара сабли, будет немедленно перенесен в рай, в царство гурий. И.Г. всем расска-

---

было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отошавшими от супа на перце <...>; перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться – будь что будет. <...> Я не раз в жизни замечал, что страх – капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. <...> Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили, и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь. Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 314–315).

<sup>76</sup> Морской переход через Черное море с севера на юго-восток вдоль побережья Кавказа в Абхазию. При той же средней скорости (15–18 км/ч) время в пути: 36–43 часа (~1,8 суток).

<sup>77</sup> Путешествие вдоль грузинского (колхидского) побережья на юг в порт Потти. При скорости 15–18 км/ч время в пути: 6–7 часов.

<sup>78</sup> «Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он – нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: “Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...” Мандельштам рассказал нам о своих злключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вулгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. <...> Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что “двойной агент Осип Мандельштам” выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича. Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть. <...> На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую. Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался: боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль: спал он на спине, и спал торжественно. Мы прожили в Тбилиси две недели» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 316–317).

<sup>79</sup> Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 318–319.

зывал этот эпизод и очень жалел беднягу. Мы с Любой взошли на хоры мечети, но женщины, плакавшие навзрыд, так свирепо на нас зашипели, что мы тут же вынуждены были уйти.

Причудливость и разнообразие впечатлений, общение с такими людьми, как милый, обаятельный Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Николай Николаевич Ходотов<sup>80</sup>, увлекали и радовали.

Больше всего меня поразила Григорий Робакидзе<sup>81</sup>, его высокая культура, исключительная выдержка, сила воли, изысканность поведения и речи. Помню, как-то вечером в гостинице, где мы занимали две комнаты, собралось большое общество. В него, как надоедливый кутенок, затесался какой-то мелкий журналист, который все насакивал на Г.Р., все приставал к нему с мелкими и бестактными замечаниями и вопросами. Кончилось тем, что Робакидзе, побледнев, но не повысив голоса, сказал ему: «Если вы не прекратите немедленно эти наскоки, я сломаю о вашу голову эту палку», а когда тот испуганно отскочил, тут же переломал ее о свое колено.

Запомнился еще визит к нам молодого поэта Зданевича<sup>82</sup>. И.Г. не было, мы с Любой вдвоем приняли его. Он примчался показать свою только что вышедшую книгу стихов<sup>83</sup>. Но что это были за стихи! Строчки были заполнены буквами, главным образом согласными, без интервалов, как в древнерусских рукописях. Мы смущенно повертели книжку в руках. Тогда Зданевич стал читать. Очевидно, за этими буквами он видел слово, видел осмысленный текст, потому что чтение его было взволнованным и производило впечатление, даже рождало смутные образы, как музыка. Люба сказала ему что-то ободряющее. Я же подумала, что вряд ли стоит печатать книгу, которую может прочесть один только автор.

Несмотря на богатство впечатлений и радость узнавания чужой страны, настроение у меня было подавленное – мучила моя неадаптация: у меня осталось одно скорее менее, чем более приличное платье, в Тифлисе пришлось купить простенькие, дешевые туфли, не было хороших чулок. Я чувствовала себя Золушкой среди хорошо одетых грузин, пыталась избегать приглашений в рестораны, но из этого ничего не выходило: каждый раз за мной являлись либо Паоло, либо И.Г., которому наказывали срочно привести меня.

Я не умела еще справляться со своими переживаниями и часто плакала. И.Г. тщетно допытывался о причине, не мог меня понять и однажды задумчиво произнес: «Странная ты!» Один Паоло ни о чем не расспрашивал, но, заставая меня в слезах, пытался развеселить, расшутить, тормозил меня, целовал. Удивительной доброты был человек! Когда мы вечером выходили на улицы, он обнимался чуть не со всеми встречными; однажды вздумали сфотографироваться у уличного фотографа – Паоло насобирав ребятишек, которые так и липли к нему, посадил к себе на колени.

<sup>80</sup> Ходотов Николай Николаевич (1878–1932) – русский и советский актер, драматург.

<sup>81</sup> Робакидзе Григорий Титович (1880–1962) – грузинский писатель. 26 сентября 1920 г. выступил со «Словом о новой русской поэзии» на поэтическом вечере Манделштама и Эренбурга в Тифлисской консерватории. В 1931 г. уехал в Германию, стал невозвращенцем. В годы Второй мировой войны жил в Берлине, в 1945 г. переехал в Швейцарию.

<sup>82</sup> Зданевич Илья Михайлович (1894–1975) – поэт, драматург, прозаик, критик, художник-график, издатель, типограф. Теоретик русского футуризма. В 1921 г. переехал в Париж. Был директором фирмы «Шанель» в 30-е гг.

<sup>83</sup> Вероятно: Зданевич И.М. ЗгА Якабы. аслаабиИчъя питЕрка дЕйстф. дЕйства читвЕртая. [Тифлис: б. и., 1920].



Стоят (слева направо): Н.Н. Ходотов, А.Э. Мандельштам, И.Г. Эренбург. Сидят: П. Яшвили, Я.И. Sommer, Л.М. Эренбург. Тифлис, 1920 г. Фото из личного архива автора

Мы были в Тифлисе в хорошее время – осенью. В памяти сохранился чудесный облик города и благодарное чувство к народу Грузии, который понравился своим радушием, веселостью, непринужденностью. Высокой культурой, блеском ума и остроумия, исключительной благовоспитанностью и в то же время простотой в обращении отличалась грузинская интеллигенция (правда, мы встречались исключительно среди избранных, элиты).

Наконец этот калейдоскоп остался позади<sup>84</sup>. Мы на Военно-Грузинской дороге<sup>85</sup>, в машине<sup>86</sup>, с нами какой-то странный спутник, который все время занимал нас разговорами и извел на нас несколько ящиков рахат-лукума. Затем Владикавказ<sup>87</sup> и поезд в Москву<sup>88</sup>, куда мы приехали в конце 20-го года<sup>89</sup>.

<sup>84</sup> Письмо зав. канцелярией Полномочного представителя РСФСР в Грузии – Министерству иностранных дел Грузинской Демократической республики с просьбой выдать пропуск для проезда во Владикавказ И.Г. Эренбургу, Л.М. Козинцевой-Эренбургу, А.Э. Мандельштаму, О.Э. Мандельштаму, Я.И. Соммер, командированным в Москву. Нота Полномочного Представителя Р.С.Ф.С.Р. в Грузии в Министерство иностранных дел Грузинской Демократической Республики № 2062 от 29 сентября 1920 г. о выдаче пропусков на проезд из Тифлиса в Москву О.Э. Мандельштаму и другим лицам В Министерство иностранных дел Грузинской Демократической Республики 29 сентября 1920 № 2062 По поручению врид Полномочного Представителя Р.С.Ф.С.Р. в Грузии прошу вас не отказать выдать пропуска на выезд из Тифлиса во Владикавказ гр.: 1. И.Г. Эренбургу; 2. Л.М. Козинцевой-Эренбург; 3. А.Э. Мандельштаму; 4. О.Э. Мандельштаму; 5. Я.И. Соммер, командированным Полномочным Представительством Р.С.Ф.С.Р. в Грузии в Москву. Заведующий канцелярией Полномочного Представителя Р.С.Ф.С.Р. в Грузии. (Нерлер П.М. Слово и дело Осипа Мандельштама : книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М.: Петровский парк, 2010. с. 24). «...Посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей. <...> Из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались “сопровождающими” (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей “охраной” – краснофлотец и молоденький актер Художественного театра. <...> Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как “сопровождающие”, так и “охрана”, спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкали снега, внизу шумели горные реки, паслись отары овец. <...> Осип Эмилевич читал стихи нашим попутчикам» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 321).

<sup>85</sup> «Я пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригостили нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий, пронзительный голос Тициана: На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою...» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 320).

<sup>86</sup> Подъем по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал и Дарьяльское ущелье к переходу «Верхний Ларс». Автомобили того времени на крутых грунтово-гравийных серпантинах и при подъеме на перевал развивали среднюю скорость 15–20 км/ч. Время в пути должно было занять 11–14 часов.

<sup>87</sup> «Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались денкиницы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город. Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами. <...> Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы. Затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмилевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддавалась его увещаниям, а белых скоро отогнали. На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: “Дипломатический курьер!”, но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать “римский папа” или “Шалыпин”...» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 322).

<sup>88</sup> «На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта, заветный пакет... Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез в термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: “Выпейте, и все обойдется...”» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 323). Упоминание Харькова здесь, видимо, является ошибочным.

<sup>89</sup> Поездка на север в октябре 1920 г. должна была проходить по следующему маршруту: Кавказский участок (Владикавказ – Беслан – Минводы – Армавир – Тихорецкая – Ростов), и после него поезд уходил по единственной безопасной на тот момент дороге – Ростов-на-Дону – Лихая, и далее вдоль Дона: Лихая – Царицын или Поворино; затем поезд поворачивал на северо-восток, уходя вглубь Поволжья подальше от украинского фронта: Поворино – Козлов и далее на север через Тамбовскую губернию: Козлов – Рязань – Москва (до Рязанского вокзала). Такой обходной маршрут увеличивал время в пути с привычных 2–3 дней до 1,5–2 недель из-за дефицита дров и угля, разрушенных путей и приоритета воинских эшелонов. Таким образом,

Была пора военного коммунизма.

---

если считать, что выезд из Тифлиса состоялся после 29 сентября, в Москву они прибыли между 10 и 15 октября. Обычно в то время пассажирские поезда шли со средней скоростью около 18–22 км/ч, тогда время в пути составило бы 80–95 часов (~3–5 суток). Итоговый баланс за все путешествие 1919–1920 гг. (без учета прибавки от движения по «Восточному объезду») будет таков: железные дороги: ~160 часов; водный транспорт: ~85 часов; автомобиль: ~13 часов. Общее время в движении: от 258 до 290 часов (около 11–12 суток чистой езды). Реальное время с учетом многодневных пересадок, проверок документов и ожидания составило от трех до четырех недель. Общее расстояние по суше и воде примерно: 4530 километров. Восточный объезд в 1920 г. увеличивал расстояние на 250–300 километров, так что итоговый результат: около 4800 километров, а общее время в пути увеличивается соответственно от четырех до шести недель.

## 1921. Москва

Для И.Г. Москва была родным городом, и он сильно волновался, подъезжая, не отходил от окна вагона, называл станции, затем по мере приближения к городу – видневшиеся вдаль здания. У меня Москва вызывала лишь исторические и литературные ассоциации. Мне еще виделись Тифлис, Коктебель, и я невольно сравнивала яркие краски южной природы с гнетущей серостью московского дня, ночное черное с золотом небо юга с северной белесой, беззвездной пустотой; московское небо казалось мне нищим, как сама страна. Было скучно смотреть на заваленные сугробами, неубранные улицы и скверы<sup>90</sup>. Раздражали разговоры о пайках, хлебе, деньгах, толкучке. Голод меня не пугал, я еще в Киеве узнала, что это такое.

И.Г. терпеливо относился к убожеству нашей жизни. Он, который в первые наши встречи познакомил меня с понятием *savoir vivre*, любивший хорошее вино, вкусную еду, изысканную одежду, никогда не брюзжал на недостатки во всем, начиная с хлеба и кончая транспортом.

Он встречался с поэтами, прозаиками (помню, он познакомил меня с Есениным в Лавке писателей), посещал театры и водил Любу и меня (мне особенно запомнилась А. Коонен в «Адриенне Лекуверр»<sup>91</sup>, «Мистерия-буфф»<sup>92</sup> и какой-то маленький экспериментальный театр), бывал на выставках. Люба тоже нашла в Москве знакомых, встретила с А.А. Экстер<sup>93</sup>, у которой училась живописи в Киеве. Она повела меня на выставку супрематистов, где висело и ее полотно (два квадрата, один в другом; по идее, крайний должен был возвышаться над внутренним, – впрочем, может быть, наоборот, но Любе казалось, что так не получилось, и она все спрашивала меня, как я вижу). Иногда вечерами мы бывали в столовой Дома печати. В день нашего приезда там произошло столкновение Мандельштама с Блюмкиным<sup>94</sup>. Я с ужасом увидела вдруг бегущего О.Э., за которым гнался пьяный с револьвером, дико крича: «Убью!».

Я поступила воспитательницей в детский дом на Коммунистической улице Таганского района. Каждое воскресенье я приходила в бывшую гостиницу «Княжий двор»<sup>95</sup> на Кропоткинской улице, где жили Эренбурги. Транспорта не было, я всю дорогу шла пешком по снежной Москве, по бесконечной Солянке, через Швивую горку (так она тогда называлась). Однажды И.Г. и Люба также проделали этот путь и пришли ко мне. Я волновалась, что мне нечем будет

<sup>90</sup> 1920 г. считается самым сухим годом за все время регулярных измерений в городе; зимой наступившего 1921 г. не было сильных морозов, а снежный покров был неустойчив, весна пришла рано – уже в марте. Может быть, Москва показалась заснеженной по контрасту с Крымом.

<sup>91</sup> Спектакль по пьесе Э. Скриба и Э. Легуве, поставленный А.Я. Таировым в московском Камерном театре. Спектакль был в репертуаре театра около тридцати лет.

<sup>92</sup> Спектакль по пьесе В. Маяковского в театре Вс. Мейерхольда.

<sup>93</sup> Экстер Александра Александровна (Григорович; 1882–1949) – русско-французская художница, сценограф, педагог, костюмер, книжный график. Руководила студией живописи в Киеве в 1918–1920 гг. Студию посещали: Григорий Козинцев, Сергей Юткевич, Алексей Каплер, Александр Тышлер, Исаак Рабинович. С 1923 г. жила за границей.

<sup>94</sup> Блюмкин Яков Григорьевич (1900–1929) – левый эсер, сотрудник ВЧК–ОГПУ. Ссора Мандельштама с Блюмкиным произошла еще в 1918 г. С тех пор Блюмкин угрожал Мандельштаму расправой. «Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напоминало деревенские похороны. Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре – там дают бутерброды. <...> Вечером мы пошли в Дом печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности – футуристы или имажинисты. Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: “Я тебя сейчас застрелю!” Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно» (Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 1. с. 323).

<sup>95</sup> Гостиница и меблированные комнаты «Княжий двор» на Волхонке, дом 14 (в здании ныне размещается Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, отдел ГМИИ им. А.С. Пушкина). В 1903–1904 гг. там жил отец Эренбурга.

их покормить после утомительной дороги, но, к счастью, мне в этот день выдали недельный паек: хлеб, сливочное масло и песок. Я устроила роскошный по тем временам чай. Моя большая комната со старинной лежанкой выглядела убого: кровать, застеленная казенным одеялом, голый стол, две длинные лавки. И все. В этой обстановке И.Г. рассказывал о Париже, о его улицах, площадях, музеях, кафе, мечтал увидеть его снова.

О.Э. я больше не видела. Однажды пришел ко мне А.Э., замерзший, голодный, обтрепанный, сказал, что у него нет жилья, что он ночует на вокзалах, и просил у меня пристанища на ночь, ужасаясь одновременно, что будет, если кто-нибудь в детдоме узнает про его ночной визит. Я старалась его успокоить, говорила, что ко мне никто не придет, если и постучат, я скажу, что легла, что утром я сумею его вывести незаметно. В качестве ложа я ему предложила мой длинный стол; А.Э. вполне мог бы на нем улечься, а я бы уж умудрилась снабдить его подушкой и одеялом, ведь укрываться я могла бы и пальто. А.Э. просидел у меня часов до одиннадцати вечера, наслаждаясь теплом и изредка задремывая, но, когда я стала устраивать ему постель, он вскочил, заявил, что не может подвергать меня неприятностям, решительно попрощался и ушел.

О.Э. в это время не было в Москве, а его брат не умел устроиться.

Между тем хлопоты И.Г. о заграничной визе увенчались успехом. Эренбурги готовились к отъезду. Я тщетно пыталась связаться с мамой (оказалось, что она с моим старшим братом уехала в Подольскую губернию), но решила ехать во что бы то ни стало: Киев – родной город, там друзья, подруги, их родители. Но прежде всего надо было добыть пропуск. Я пошла в пропускное бюро и на вопрос о причине отъезда рассказала, что у меня в Киеве старенькая мама, что мы с ней не виделись полтора года, я ничего не знаю о ней и братьях. В пропуске мне отказали.

В отчаянии я прибежала к Эренбургам и расплакалась. И.Г. сначала расстроился, стал искать выход и вдруг посоветовал: «Чем плакать здесь, лучше вернитесь и поплачьте там». Не оценив в горе комизма ситуации, я послушалась (Люба горячо поддержала И.Г.). Пропуск мне выдали.

Эта зима 1920–1921 года была тяжелым периодом в нашей жизни. Какие-то мрачные тучи висели над нами. И.Г. был задумчив и озабочен. Стихи читал, рассказывал о встречах, о различных эпизодах, характерных для эпохи военного коммунизма, но оживлялся только тогда, когда говорил о поездке в Париж. Меня тяготила обстановка в детском доме, не нравились воспитательницы, заведующая, которые зазывали меня к себе якобы на чай, а сами допытывались, где и с кем я провела воскресный день; забраковали книжку чудесных детских стихов, подаренную мне Ильей Григорьевичем, запретили читать детям Чуковского. Только Люба была весела и беззаботна.

## 1926. Москва

Прошло пять лет. В эти годы И.Г. несколько раз приезжал в Москву, а я была далеко – в Азербайджане. Длительное время мы с ним переписывались. В Ленкорань он прислал мне свою первую прозу «Хулио Хуренито», потом «Тринадцать трубок», много своих фото. Во время войны все это пропало<sup>96</sup>.

В 26-м году я с мужем и двухлетней дочкой приехала в Москву, где встретила со многими друзьями-киевлянами. От них я в первый же день узнала, что И.Г. в Москве<sup>97</sup>. Обещали устроить мне встречу. Она произошла в Доме Советов на улице Грановского, в комнате моей киевской подруги Кати Трощенко. Я сидела одна, когда вбежал И.Г. и бросился ко мне.

Это была радостная встреча. Я этого не ожидала: всегда самокритически настроенная, я вспоминала себя дурной, неловкой, злой, корила себя даже за то, что не смогла полюбить собак, которых И.Г. обожал; он тщетно старался победить мое физическое отвращение и недоверие к ним («Я не знаю, что у них на уме»)<sup>98</sup>. И за многое другое. Мне даже казалось, что И.Г., идя ко мне, просто выполняет долг вежливости. Но это была искренняя радость – в этом я не могла ошибиться, я его хорошо знала.

Он то рассказывал о себе, то перебивал себя расспросами о дочке, о муже, о дальнейших планах.

Но увы! Моя нетерпеливая Катя сама хотела познакомиться с Эренбургом, и я еще в комнате услышала, как она прыгает по лестнице через две ступеньки.

Катя принесла из редакции (она сотрудничала в журнале «Красная новь») стихотворение Твардовского – тогда это имя было еще внове<sup>99</sup>. Дала И.Г. прочесть, но он только скользнул глазами по рифмам, нашел их банальными и отозвался о стихах отрицательно. Ему было не до того, к тому же он досадовал на Катю за то, что она так быстро явилась.

Мы встречались часто, каждый день. Бродили по московским улицам, и И.Г. вспоминал строки из своего юношеского стихотворения:

*И столько близкого и милого*

В словах: Арбат, Дорогомилово<sup>100</sup>.

Мы с ним подолгу сидели в кафе на каком-то бульваре (я тогда плохо знала Москву), а он все время щелкал «лейкой». Не знаю, пользовался ли он в то время боковым видоискателем, во всяком случае, он сумел отвлечь мое внимание, и я не подозревала, что он фотографирует меня. Потом он открыл мне этот секрет и смеялся, что истратил на меня всю ленту, сделал сто снимков. Впоследствии И.Г. присылал мне из-за границы целые пачки маленьких фотокарто-

---

<sup>96</sup> «Советская» версия. О судьбе архива см. Послесловие.

<sup>97</sup> «Среди писателей. В Москву приехал из Парижа Илья Эренбург. В последнее время писатель работает над книгой исторических биографий ученых, художников, революционеров, мыслителей, которые опередят свою эпоху. В издательстве Ленгиза печатается новая книга Эренбурга “Рвач”, а в издательстве “Круг” – книга под названием “Лето 1925 г.”. В настоящее время Эренбург прочтет две лекции в кино-кабинете РАХН. Для иллюстрации этих лекций о кино писатель привез ряд отрывков из неопубликованных еще работ лучших французских мастеров: “Наполеон” Гэнса, “Нана” Ренуара, “Ниточная Мануфактура” и проч.» // *Вечерняя Москва*. 1926 № 122 (29.05).

<sup>98</sup> «В устных рассказах Я.И. Соммер был такой эпизод: “Я как-то готовила на мангале и никак не могла отвязаться от какой-то бродячей собаки; наконец, не выдержав, я на нее замахнулась. И надо же было в этот момент появиться И.Г. Он долго и свирепо ругал меня – как можно обижать животных?”» (Минувшее-17. с. 168).

<sup>99</sup> Эпизод со стихами Твардовского, скорее всего, относится к 1932 г., так как в 1926 г. Твардовский только начал печататься в смоленских изданиях, и стихи его вряд ли могли заинтересовать московскую редакцию. Первые публикации Твардовского в московской печати датируются 1929 г. (Минувшее-17. с. 168).

<sup>100</sup> Строки стихотворения «О Москве» (1913), впервые напечатанные в сборнике «Будни» (Париж, 1913), запрещенном в царской России.

чек и штук 10–15 увеличенных. Писал, что любит сидеть у ванночки с проявителем и наблюдать, как постепенно возникают на дне ее черты моего лица.













Ядвига. Москва, 1926 г. Фото И. Эренбурга. Из личного архива автора

Бесконечны были его рассказы о Париже (ведь он побывал за это время во многих странах, но о них говорил мало), о новых друзьях, о новых поэтах и новых стихах. Рассказывал о встрече в Париже с Мариной Цветаевой, о выставке картин Любы в Берлине, о том, как созда-

вал «Хулио Хуренито»; бранил критиков не менее ожесточенно, чем Петефи<sup>101</sup>. Я жадно слушала литературные новости, так как в Ленкорань не доходили новые книги и журналы. Читала «Рвача», единственный экземпляр которого ему удалось провезти из-за границы<sup>102</sup>, «Лето 1925 года», напечатанное, если не ошибаюсь, в «Красной нови»<sup>103</sup>.

И.Г. любил вспоминать Киев, Коктебель, Тифлис, перебирал общих знакомых, и видно было, что он пристально следит за их судьбой. Удивительно добрая была у него память! О людях, которых он в прошлом нередко осуждал, высмеивал, которые подчас тяготили его, он потом вспоминал сердечно, с ласковой улыбкой – иногда чуть иронически, но не зло. Вероятно, он сознательно воспитал в себе это качество, судя по тому, что он писал в своих мемуарах: «Читатель может спросить, почему пережитые годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. <...> Были и у меня разочарования, порой я если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих, не хочу судить, тем паче, что я не убежден в своем беспристрастии»<sup>104</sup>.

И.Г. жил тогда (летом 26-го года) в Проточном переулке, в квартире Сорокиных. Я была там, И.Г. познакомил меня с Тихоном Ивановичем, о котором рассказывал еще в 19-м году, но тот сразу оттолкнул меня грубоватым замечанием: «Я не люблю стриженных женщин»<sup>105</sup>. Я не переносу грубость, поэтому сразу завяла и замкнулась.

---

<sup>101</sup> Поэзия Шандора Петефи (1823–1849) подвергалась нападкам венгерских критиков и в консервативных журналах (за революционные идеи и радикализм), и в либеральных (за вульгарность и дурновкусие) (Минувшее-17. с. 169).

<sup>102</sup> Роман Эренбурга «Рвач» в 1925 г. был издан в Париже, в СССР его издание было запрещено. Полный текст романа опубликован в СССР лишь в 1991 г.

<sup>103</sup> Фрагмент романа «Лето 1925 года» был напечатан в «Красной нови» (1926 № 5) под названием «Лето 1925 года в Париже»; полностью роман был опубликован издательством «Круг» в 1926 г. (Минувшее-17. с. 169).

<sup>104</sup> Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. т. 2. М., 1990. с. 264.

<sup>105</sup> «29 декабря 1972 г. Я.И. Sommer рассказывала это так: “Когда я в 1926 пришла к И.Г. в Проточный переулок, где он жил с Тихоном Ивановичем в одной комнате (я перед тем остриглась, а раньше носила длинные волосы), И.Г. сказал Сорокину: “Вот, смотри, как Ядвига Иосифовна постриглась”, а Тихон сказал: “Я вообще не люблю стриженных женщин”» (Минувшее-17. с. 169).



И.Г. Эренбург, Я.И. Sommer, М.П. Кудашева, Т.И. Сорокин. Москва, 1926 г. Фото из личного архива автора

Мы пошли втроем бродить по Москве (Кати, жены Т.И. – она была первой женой И.Г. – я не видела), где-то встретились с Майей Кудашевой и сфотографировались на бульваре. Мы с Майей вспомнили Коктебель, Макса и его мать. Разговаривала она сухо, как будто не было

той ночи, когда она привела меня к себе, чтоб рассказать о гибели своего нелюбимого мужа, князя Кудашева, и о страстной любви к И.Г.<sup>106</sup>

Анастасия Цветаева пишет в книге своих «Воспоминаний»: «Майя всегда влюблена»<sup>107</sup>.

Как-то мы шли довольно большой компанией по Садовому кольцу. И.Г. нужна была фотография для документа, и он задержался у уличного фотографа. Тот между делом рассказал, что однажды ранним утром к нему явился кто-то в нетрезвом виде и потребовал его сфотографировать, но так и не пришел за карточками. Они были выставлены в витрине. И вот один из посетителей сообщил ему, что это известный поэт Есенин. Вскоре до него дошел слух о самоубийстве Есенина. Догадливый фотограф смекнул, что сможет на этом деле хорошо заработать; он увеличил и размножил снимки и, действительно, нажил на продаже их круглую сумму. Кое-кто из присутствующих развеселился, а И.Г. был омрачен. Один из нашей компании, кажется, посоветовал фотографу, чтобы он воспользовался благоприятным случаем и на этот раз. Но, поскольку никаких сенсаций за сим не последовало, вряд ли эта работа обогатила хозяина уличной палатки.

Мы опять надолго расстались.

---

<sup>106</sup> М. Волошин вспоминал М. Кудашеву в Коктебеле: Майя всю осень 1919 года «была бурно влюблена в Эренбурга, топилась, травилась и т. д. весь ритуал Майиной влюбленности...» (Волошин М.А. т. 12. Письма 1918–1924. с. 316).

<sup>107</sup> «Майя – влюбилась? Майя всегда влюблена» // Цветаева А. Воспоминания. Изд. 2-е, доп. М., 1974. с. 433.

## 1932. Москва

Следующая встреча с И.Г. состоялась в 32-м году. К этому времени я кончила университет и поселилась недалеко от Москвы, преподавала литературу и русский язык в педагогическом техникуме, в Москве бывала часто. Летом я узнала, что И.Г. приехал и будет читать лекцию о Париже в каком-то клубе<sup>108</sup>. Друзья достали мне билет с большим трудом, но все места были заняты, и я села на крышку рояля, стоявшего возле сцены. И.Г. долго говорил<sup>109</sup>, смотря прямо перед собой, потом постепенно стал обводить взглядом весь зал. Увидев меня, запнулся, но тут же справился с собой и продолжал лекцию. Он не собирался делать перерыв, но передумал. Объявил – и, сойдя по лесенке в зал, подбежал ко мне, а я уже шла навстречу. По окончании лекции мы вышли и долго бродили по Красной площади, потом он проводил меня на Петровку<sup>110</sup>. И.Г. сообщил мне, что едет в Кузнецк, т. к. задумал новую книгу. Это был «День второй». Он радовался, что я хорошо одета. «Как парижанка», – сказал он.

В ожидании отъезда он посещал школы, бывал на уроках, беседовал с ребятами (на одной такой беседе я присутствовала, мне очень понравился деловой, серьезный тон разговора – с обеих сторон): задуманная книга требовала знания молодежи. С возмущением говорил о новой трактовке литературных произведений.

«Наталья Савишна!<sup>111</sup> – восклицал он. – Ты бы посмотрела, что они сделали с нею! Как испоганили эту прекрасную женщину за ее преданность “барам”. Ведь это что же? Искажены все нормальные человеческие отношения! Учителя внушают учащимся, что Наталья Савишна должна была ненавидеть детей, которых она вынянчила, воспитала... Впрочем, – подозрительно присматривался он ко мне, – ты ведь тоже учительница, может быть, ты тоже так “преподаешь”? Ведь этот “социологический метод” сейчас усиленно насаждается». Но, заметив, что я в недоумении смотрю на него, тут же сам отвел это предположение: «Нет, этого не может быть: ты слишком любишь литературу, чтоб расправляться с ней так бесстыдно».

Он расспрашивал о моих учениках. Ему очень понравилось, что мои ребята, работая на совхозном поле, экспромтом разыгрывали целые сценки из «Мистерии-буфф», хотя первоначально и встретили стихи Маяковского в штыки.

Он много говорил о предстоящей длинной дороге, волновался, что ему достался билет в двухместном купе, и с ним рядом будет жить какой-то человек. С комическим ужасом он повторял: «Будет дышать целую ночь. А вдруг будет храпеть? Я тогда выброшусь из поезда». И он придумывал себе соседей: будет ли это грубый агроном, пьяница и картежник, который, чего доброго, предложит ему сыграть в «21», или это будет сварливая старуха, стонущая и кряхтящая и каждый час раскладывающая свои домашние припасы, – она будет есть и причмокивать и облизывать пальцы... Я, шутя, докторальным тоном упрекала его в отсутствии демократизма, в снобизме, он смеялся, но эта игра его очень занимала, и он все время к ней возвращался, давая простор своей фантазии.

Однажды (это было в гостиничном номере) И.Г. протянул мне фото девушки или молодой женщины. По этому жесту, по лицу его я догадалась, что это его новая подруга, может быть даже любимая. Я долго смотрела на нее – он что-то говорил, я уловила только слово «племян-

<sup>108</sup> «В начале августа из Парижа в Москву приезжает Илья Эренбург. Он пробудет в СССР около двух месяцев и примет поездку по Союзу, в частности, на Урал и в Сибирь» // Вечерняя Москва. 1932 № 140 (18.06).

<sup>109</sup> «В устном рассказе Я.И. Соммер была такая подробность: “Эренбургу тогда задавали много вопросов. Спросили, в частности, видел ли он Ленина. Он сказал, что да, видел в Париже и сразу же стал говорить о смерти Ленина, о его похоронах, и говорить, так сказать, со вздохом, как тогда считалось необходимым говорить”» (Минувшее-17. с. 169).

<sup>110</sup> К сестрам Рае и Зинаиде Лерт, у которых остановилась Ядвига (Петровка, д. 19, кв. 3).

<sup>111</sup> Экономка, персонаж книги Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

ница»<sup>112</sup> (но не услышала, чья) – и, вместо ответа, расплакалась. Он смущенно вынул из моих рук карточку и, не сказав ни слова, провел рукой по моим волосам. Говорить было не о чем и незачем, мы понимали друг друга хорошо. Как странно, что я отчетливо помню все встречи, но мне темны расставанья – ни один прощальный взгляд, ни одно последнее рукопожатие не запечатлелось в душе.

---

<sup>112</sup> Речь идет о Дениз Монробер (Лекаш – по мужу, в браке в 1923–1936; 1905–1975?) – парижской актрисе; Дениз была подругой Эренбурга в 1930-е. (Минувшее-17. с. 169).

## 1944–1946. Москва. Ярославль

В 33-м году я уехала в Ижевск, в Удмуртию, где жила до осени 38-го года, затем переселилась в Ярославль и стала работать в пединституте<sup>113</sup>. В Москву я ездила часто, но И.Г. был за границей.

Началась война, поездки стали невозможны. Только однажды я получила пропуск для свидания с братом, который был вызван с фронта для получения звания Героя Советского Союза<sup>114</sup>. Я позвонила И.Г., он попросил зайти в редакцию «Красной звезды». В его кабинет часто стучались сотрудники, раздавались телефонные звонки, нам едва удалось обменяться сведениями о нашей жизни, поговорить о войне<sup>115</sup>. Она уже близилась к концу, но И.Г. пессимистически смотрел на будущее: он говорил, что фашизм не убит, он окрепнет и распространится за пределами Германии. Я сказала: «Значит, тебя ждет определенное поприще – ты всегда будешь бороться против фашизма».

– Буду, – просто сказал он, – и против войны.

Он был сумрачен, казался переутомленным, постарел. Я почувствовала, что внутренние мы далеко ушли друг от друга: слишком большая полоса жизни легла между нами. И.Г. многое увидел и понял за эти годы – у него жизнь была широкая. А я жила в своем узком академическом кругу и ничего не понимала из того, что происходило, только чувствовала нависшую над нами страшную тяжесть. Он был единственным человеком, к которому я могла бы обратиться со своими сомнениями, так как только ему я безоговорочно верила, в мудрость его верила: он чувствовал мое смятение, мой душевный хаос и спрашивал: «Почему ты такая? Что с тобой делается?» Я знала, что несколькими словами он мог прояснить мое сознание – теперь он нашел бы благоприятную почву, а затем я домыслила бы все сама, но... обстановка была неподходящая. Я сослалась на состояние здоровья, на неприятности по работе, попрощалась и ушла.

Летом 45-го года И.Г. и Люба приехали в Ярославль. Мы с Таней<sup>116</sup> были у них в гостинице на улице Кирова, гуляли по Волжской набережной, ходили с Любой на рынок – он ей понравился, показался богатым (меня удивил ее интерес к ценам, к хозяйству – никогда раньше этого у нее не было; вероятно, сказала московская убогая жизнь военного времени). На рынке

---

<sup>113</sup> Ярославский государственный педагогический институт: 1.09.1938 – 22.12.1956 – преподаватель методики литературы; 22.12.1956 – 1.09.1962 – доцент; уволена в связи с переходом на пенсию.

<sup>114</sup> Ошибка. Ядвига выехала в Москву из Ярославля не в мае 1945 г., а 5 мая 1944 г. сроком на одну неделю. Целью поездки были поиски научного руководителя и утверждение темы диссертации. Так что «военная» встреча с Эренбургом произошла между 6 и 13 мая 1944 г.

<sup>115</sup> Рассказ о встрече из письма Ядвиги к дочери от 17.05.1944: «Долго ли мука сея будет? Спрашивала в Москве Эренбурга, он в ответ рассказал анекдот о шофере Жукова, который долго собирался спросить генерала, когда кончится война, только дожидался, когда тот будет в хорошем настроении. Наконец, дождался. Но только что шофер хотел открыть рот, как Жуков сам обращается к нему с вопросом: “Как думаешь, Сидоренко, скоро ли кончится война?”»

<sup>116</sup> Таня: 17.08.1945. «Сегодня здесь выступает Эренбург – постараемся с мамой увидеть его, и она познакомит меня с ним. Я несколько робею». Август 1945. «Сюда приехал Эренбург. Мама познакомила меня с ним и его женой. Она – светская женщина, умная, любезная – но и только. Он – очень усталый человек, скептик и пессимист. У мамы сейчас еще осталось от старого чувства. Хочет в воскресенье позвать их к нам и хлопочет, чтобы угостить, – транжирит деньги. Он большой человек и особенный – человек, из-за которого лет пять–десять тому назад (даже) женщины могли терять головы, он знает науку страсти нежной. Я теперь поняла, что она не пустяк, а очень серьезная и захватывающая вещь. Уметь седлать приятное одним жестом, словом. Я много за ним наблюдала, он меня интересуется. А так как на меня не много обращают внимания, то я имею возможность наблюдать. Устал он безумно, как о кошмаре думает о выступлении, и они уже не то, что его некоторые прекрасные статьи. С таким же интересом слежу за собой – несмотря на свою большую застенчивость, я совсем свободно держусь. Странно – чем бы это объяснить? Сообщил интересную вещь о Шолохове. Его судьба – судьба Есенина – спился и погиб. Один сам кончил, а этот просто погиб – глубокая и большая моральная депрессия. Жаль его и советскую литературу, которая в нем потеряла свое лучшее. Антисемит и пьяница уже не напишет ничего. Эренбург глубоко его жалеет, она [Л.М.] говорит с озлоблением».

она купила несколько деревянных кустарных ложек, на одной из них была выжжена надпись «Для Гриши» – это был гостинец брату, Григорию Михайловичу Козинцеву. Рассказывала о своей старой домработнице, которая ужасно им завидует и ненавидит их за то, что они живут лучше, чем ее деревенские родственники. А когда И.Г. бойцы прислали девочку, подобранную в разрушенной деревне<sup>117</sup> (ее удочерила Ирина Ильинична), старуха возненавидела и ее – вот, мол, какое счастье этой дурехе привалило. Хотя девочке жилось у Эренбургов лучше, чем у генерала, который вначале взял ее в свою семью, но чувствовалось, что воспитателями они были никудышными. Из Ирины девочка веревки вила, Любу не слушалась совершенно, а И.Г. с ней только играл.

Мы ходили втроем осматривать ярославские церкви на Которосльной набережной. И.Г. бегло читал славянскую вязь на стенах, что я, преподававшая в институте древнерусскую литературу, отметила с большим удовольствием, восхищался неувядающими красками фресок и возмущался тем, что памятники старины разрушаются (в церкви был какой-то склад, многие фрески были испорчены поселившимися под крышей голубями).

Эренбурги съездили в Кострому, где их очень гостеприимно встретило городское начальство, в противоположность ярославскому, которое обещало дать им машину для осмотра города, но протомило целый день в напрасном ожидании. Объясняется это просто: незадолго до этого в центральной прессе появилась разносная статья Г.Ф. Александрова<sup>118</sup>, резко и несправедливо обвинявшая Эренбурга в том, что он якобы не различает понятий «немец» и «фашист». Уезжая, И.Г. поклялся, что ноги его не будет в Ярославле. Костромской же прием надолго задержал И.Г., он чуть ли не на час опоздал на свою лекцию в Волковском театре.

Я попросила мою дочь записать воспоминания об И.Г. и Любе. Оказалось, она лучше запомнила некоторые факты и рассказы И.Г. Цитирую ее письмо: «И.Г. при виде меня поразился: "какая у Ядвиги взрослая дочь"; Люба вела себя (как я теперь понимаю) светски, т.е. непринужденно, дружески, с нею сразу стало легко. Приехали они на машине (иного транспорта И.Г. тогда не признавал), а уехали на виллисе из воинской части и долго ждали, пока его починят.

Были мы на его лекции в театре, собралось много народу. И.Г. несколько раз с обидой помянул статью Александрова. Кажется, по ее поводу он начал говорить о том, что наши люди очень отходчивы, что немцу на фронте страшны были только первые три километра по дороге в плен. Рассказал о своем шофере, у которого вся семья погибла в Бабьем Яру, но когда им почему-то пришлось везти немца и тот попросил сигарету, шофер дал ему закурить. Несколько раз И.Г. повторил его фразу, что раз уж мы победили, то пленных нельзя обижать. Эти слова он назвал мудрыми: теперь другое время – раньше мы требовали смерти немецким оккупантам, теперь вступают в права другие, человеческие, чувства.

<sup>117</sup> Фаня (Фейга) Фишман – девочка-подросток, пережившая Холокост, которая обрела вторую семью и спасение, став приемной дочерью И.И. Эренбург.

<sup>118</sup> Статья начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает» (Правда. 1945. 14 апреля), которая стала ответом Сталина на полученное им секретное донесение от 29.03.1945 г. начальника Главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР В. Абакумова о публичных выступлениях Эренбурга в Москве после поездки в Восточную Пруссию с обвинениями в адрес Красной армии (мародерство, самоуправство, насилия и т. д.). В статье Эренбурга обвиняли в том, что он упрощает ситуацию, называет всех немцев разбойниками и требует равной ответственности всего немецкого народа за преступления. Эренбургу вменяли в вину те обобщения, против которых он сам выступал. 15.04.1945 г. Эренбург написал письмо Сталину: «...Накануне победы я увидел в "Правде" оценку моей работы, которая меня глубоко огорчила. Вы понимаете, Иосиф Виссарионович, что я испытываю. Статья, напечатанная в [центральной] [о] [ране], естественно, создает вокруг меня атмосферу отчуждения и моральной изоляции. Я верю в Вашу справедливость и прошу Вас решить заслужено ли это мной. Я прошу Вас также решить, должен ли я довести до победы работу писателя-публициста или в интересах государства должен ее оборвать» («Мы предчувствовали полыханье...»: Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – сентябрь 1945 г. : Док. и комментарии. М.: РОССПЭН, 2015. т. 2, кн. 2. с. 331).

Вечером мы были на собрании ярославских писателей<sup>119</sup>. И.Г. беседовал с ними. По их просьбе он читал свои стихи, говорил, что пишет их редко, очень занят (во время войны писал иногда по пять статей в день), но все-таки без стихов не может.

Помню вопрос, очень задевший И.Г. Кто-то сказал, что слышал мнение писателей, будто И.Г. пишет стихи для отдыха, дескать этот жанр для него пустяки. И.Г. ответил, что для отдыха он клеит коробки, может их показать у себя дома, а стихи, да еще военные, т. е. достаточно грустные и горькие, для отдыха не пишут. Его это, видно, всерьез задело, – он к этой теме возвращался и позднее»<sup>120</sup>.

На другой день И.Г. и Люба были у нас. Мы договорились, что я сама зайду и приведу их к себе. Показала им на своей улице церковь Николы Мокрого, сильно пострадавшую во время восстания левых эсеров в 18-м году, но сохранившую свои изумительные изразцы. К сожалению, проникнуть внутрь не удалось, так как и в этой церкви был склад, да еще, кажется, военный. Тане я поручила приготовить обед. Помню, И.Г. и Люба очень одобрили украинские вареники с вишнями – ведь они, как и я, были киевляне<sup>121</sup>.

<sup>119</sup> Тania: 21.08.1945. «Была на беседе Эренбурга с местными писателями, слушала и всячески запоминала. Эренбург говорил, что напишет хороший роман о войне люди, участвовавшие в ней непосредственно. Напишут не сразу, а когда материал уложится и будет временная перспектива. Очень интересный ответ Толстого Андрееву приводил. Тот спросил его вызывающе: что нужно делать, чтобы хорошо писать? Толстой ответил: 1) не пишете ради денег; 2) не пишете о том, что вам не интересно; 3) если вы задумали книгу и можете ее не написать – не пишете. Это последнее мне очень понравилось: значит, литература – это необходимость, это потребность. Я на этом же вечере открыла в Эренбурге поэта – у него удивительно сильные и удивительно мучительные стихи. Мучительные до боли. Они меня доводят до сердцебиения – совершенно буквально. Я переписала некоторые ненапечатанные стихи и, пока переписывала, почувствовала, что мне становится плохо. Конечно, тут еще прибавилось вечное курение моей мамы, но не так же оно на меня действует».

<sup>120</sup> Общие размышления Тани после встреч с Эренбургом: Август–сентябрь 1945. «У великих наших классиков, революционеров (у русских) всегда была вера в прекрасное будущее. Они черпали эту веру в сознании силы и величия народа, в вере в народ. Меня это поражает. Ведь почти у всех есть мысли, высказывания об этом. Грустно лишь то, что, возможно, это прекрасное от нас так же далеко, как и от них. Но даже тогда мы должны делать все, чтобы его приблизить. Может быть, наши дети хоть немного да застанут счастье на земле. Я столкнулась недавно с глубоким пессимизмом в этом вопросе у Эренбурга. Для него атомная бомба возвещает будущее. Это страшно. Если строить, зная, что это скоро разрушат, опускаются руки. Или лучше не заглядывать так далеко, а думать о счастье в настоящем. Тогда получится вольтеровское: “Будем возделывать свой сад”. Этого мало, хотя это составная часть счастья всего человечества. Если бы все люди возделывали свой сад и не вмешивались в дела других! Может быть, когда-нибудь это и будет».

<sup>121</sup> Воспоминания Тани, включенные в «Записки», редактировались, возможно, Б. Фрезинским, и некоторые рассказы расположены не в тех местах, где они должны были быть. Так, разговор о Шолохове и столкновении с ним отнесены к 1946 г., хотя, судя по письму Тани, это произошло в 1945 г. Поэтому здесь приводятся дополнительно воспоминания в том виде, как они были написаны Таней летом 1975 г.: «Об Эренбурге я помню довольно мало. Он приехал в Ярославль летом, когда я была там на каникулах. В тот же день, когда он приехал, мы пришли к нему в гостиницу в номер Люкс. По-моему, это было на той улице, на которой рынок. Мы позвонили ему по телефону снизу из гостиницы, причем какой-то молодой человек был первым и не пускал нас, боясь, что мы влезем вне очереди. Эренбург сразу позвал нас к себе в номер, очень просто. Мы пришли, там сидел этот молодой человек. Мы познакомились с Любой и И.Г. Он мне показался очень похожим на фотографии и очень низеньким. Люба вела себя (как я теперь понимаю) очень по-светски, т. е. непринужденно, дружески, с нею сразу стало легко. Приехали они, по-моему, на машине (иного транспорта И.Г. тогда не признавал). Обратились они уехали на виллисе из воинской части и долго ждали, когда его починят. С тех пор мы с ними почти не расставались в Ярославле. Ходили гулять по Ярославлю, почему-то помню больше всего их на новой Ярославской набережной. И.Г. ворчал, что памятники разрушаются, попросил зайти посмотреть церковь внутри. Я не была там в церкви, не знаю, были ли там какие-нибудь фрески. Надо мной он все подтрунивал, относился несколько иронически, только поражался, что все постарели, вот у Ядвиги такая взрослая дочь. Были мы на его лекции в Волковском театре. Собралось довольно много народу, только почему-то мне помнится, что в зале было темно. Что говорил Эренбург я не помню. По-моему, это было после статьи Александрова, и он несколько раз с некоторой обидой вспомнил эту статью. По ее поводу он начал говорить о том, что наши люди очень отходчивы, что немцу на фронте страшны первые три километра (по дороге в плен). Рассказал историю о своем шофере, у которого в Киеве погибла вся семья в гетто, но когда им почему-то пришлось взять немца и тот попросил сигарету, то шофер дал ему закурить. И И.Г. приводил несколько раз его фразу что-то насчет того, что раз уж мы победили и не убили, то надо их теперь кормить. Вот это для Эренбурга было мудростью. Теперь другое время – раньше мы требовали смерти немецким оккупантам, теперь вступают в права другие чувства и другие обязанности. Это собственно и было ответом Александрову. Вечером мы были в союзе писателей Ярославля, где И.Г. беседовал с писателями. И читал свои стихи, говорил о своих стихах, что пишет их редко, очень занят (во время войны писал по пять статей в день), но о стихах все-таки не забывает. Читал военные стихи, отвечал на вопросы. Помню только один, мне показавшийся очень глупым, но очень задевший И.Г. Кто-то сказал, что он слышал мнение писателей, что И.Г. пишет стихи для отдыха, что дескать этот жанр для него пустяки. И.Г. сказал, что для отдыха он клеит коробки, может их показать, если к нему придут домой, а стихи, да еще такие, т. е. военные, достаточно грустные и

После ярославской было несколько московских встреч<sup>122</sup>. Когда я в первый раз пришла к Эренбургам на улицу Горького (на восьмой этаж, лифта не было или он не работал), они мне показали квартиру. В одной из комнат, кажется, в кабинете И.Г., висела большая картина (гуашь) Любы, изображающая двух (или трех?) французских рабочих за столом. Меня поразила реалистическая манера, не свойственная прежним работам Любы. Она весело рассказывала о своем парикмахере, собиралась на «Золушку» Прокофьева, кажется, на премьеру, – в таком случае это было 21 ноября 45-го года, но возможно, я ошибаюсь. Помню хорошо, что балет привлекал всеобщее внимание, о нем много говорили как о новинке – значит, была зима 1945–1946 года. И.Г. при мне вырезал бордюр из Любиной коробки папирос и наклеил его на ребро полки книжного шкафа, уже обильно изукрашенного таким же образом.

Показывал мне свои книги и их переводы. Рассказал о судьбе Мандельштама. У меня сердце защемило, когда он описал, как О.Э. с Надей тайком приезжали в Москву, но не решились зайти ни к кому из знакомых, а просиживали целые часы на бульваре, прижавшись друг к другу; и как О.Э., увидев одного известного писателя<sup>123</sup>, подошел к нему и попросил денег (можно представить, в какой крайности был человек), а тот протянул ему... трешку.

Как-то И.Г. пригласил меня и Таню – она училась в МГУ – на свою лекцию в Политехнический. Дочь вспоминает: «Мы сначала поехали к ним домой, а потом на машине вместе с И.Г. в институт. Дома были недолго. Запомнила рассказ И.Г. о Париже после прихода немцев. Он говорил, что стихи Ахматовой о Париже совершенно невероятно правдивы, она почувствовала самое главное, словно увидела его духовным зрением<sup>124</sup>. О себе рассказывал, что, пользуясь неприкосновенностью как советский гражданин, вел себя вызывающе по отношению к немцам, например, входил в кафе, на дверях которых висело объявление: "Евреям вход воспрещен". Заговорили о русских антисемитах, и И.Г. рассказал об антисемитских выходках Шолохова, направленных против него лично. Присутствовавшие при этом люди молчали и только после ухода Шолохова бросились к И.Г. выражать свое негодование. Но И.Г. обиделся на них: почему не вмешались, почему соболезнают задним числом. Он сказал: "Им же легко было возразить, они русские" .

На всю жизнь я приняла эти слова как руководство к действию. И.Г. сказал еще, что Шолохов – единственный антисемит, которого ему жаль, т. к. талантливый человек, он совершенно спивается. Помню также разговор мамы с Л.М., которая говорила, что пишет портрет М.И. Алигер, и между прочим пожаловалась, что трудно найти натуру. Мама, шутя, предложила себя, но Л.М. ответила: "Вы для меня недостаточно уродливы". По дороге в машине

---

горькие, для отдыха не пишут. Его это, видно, всерьез задело, он к этой теме возвращался и позднее. Из разговоров помню отзыв о Симонове, с которым ездил на фронт, что тот ужасно не выносил и вечно ныл по поводу отсутствия комфорта. Не помню, когда он рассказывал о своей домработнице. Он говорил, что она ужасно завидует и ненавидит их всех за то, что они живут лучше, чем ее деревенские родственники. Рассказывал о девочке, присланной бойцами, с просьбой ее пристроить куда-нибудь. Они нашли ее в какой-то разбитой деревне. Эренбурги девочку пристроили какому-то генералу, который хотел взять ребенка, но через некоторое время посетили ее и увидели, что девочке очень плохо, и забрали ее себе. Так она и осталась у них. Старуха возненавидела ее еще сильнее, т. к. – вот какое счастье этой деревенской дурехе привалило. А девчонка стала их приемной дочкой. Надо сказать, что воспитатели они были очень не АХ. Из Ирины эта девочка вообще веревки вила, Любу слушалась очень мало, а И.Г. с ней только играл. Помню разговор об антисемитизме. Эренбург рассказывал о Шолохове, о его каких-то антисемитских штучках в присутствии И.Г., чуть ли не у него дома. После того, как Шолохов ушел, к нему бросились какие-то люди с возмущениями. Но И.Г. был обижен и на них – почему не вмешались, почему соболезнают задним числом. Он говорил – им же легко возразить – они русские. С тех пор я это очень запомнила, хотя при мне никто и никогда не позволял антисемитских выпадов – не было случая проявить. О Шолохове И.Г. сказал, что это единственный антисемит, которого ему жаль, т. к. талантливый человек совершенно спивается. Когда Эренбурги были у нас, я их кормила варениками с вишнями и слишком была поглощена хозяйственными заботами, чтобы слушать и запоминать беседу. Эренбург все надо мной подтрунивал и говорил, что если мы подружиться, то он будет надо мной всегда трюнить».

<sup>122</sup> С Эренбургом в 1945–1946 гг. встречалась не только Ядвига, но и ее дочь Таня, и подруга – Эдварда. Ядвига – Тане: 7.10.1945. «Звонила ли ты Эренбургу? Ты мне писала только, что собираешься». Эдварда: 6.04.1946. «Также впечатления от Эренбурга – напомни».

<sup>123</sup> Встреча с И.Л. Сельвинским в начале 30-х гг.

<sup>124</sup> Стихотворение «Когда погрёбают эпоху...».

И.Г. издевался над нашим транспортом. Говорил, что в метро в часы пик страшная давка, и нарисовал целую картину, как по мере нарастания скученности понадобится медицинская служба, чтобы оказывать помощь искалеченным, и тогда мы торжественно напишем в газетах, что только в нашем метро имеется такая служба и что она лучшая в мире»<sup>125</sup>.

Вспоминаю еще один вечер у Эренбургов. Когда я пришла, Люба повела меня смотреть только что приобретенное ею в комиссионном магазине кресло, на мой вкус весьма неудобное, с прямой спинкой, твердыми подлокотниками и коротким сидением. Любе очень хотелось, чтоб ее покупку похвалили, а И.Г. скептически помалкивал. Я доставила ей это удовольствие, заявив, что новое кресло гармонирует с обстановкой комнаты. В Любе всегда было что-то детское, что меня умиляло в ней, было страшно ее обидеть. Она рассказывала, что просрочила паспорт, и ее направили к начальнику милиции. Придя к нему, она спросила: «Вы будете на меня кричать?» Этот вопрос и ясный, невинный взгляд могли обезоружить самого закоренелого бурбона.

Потом прибежала Ирина Ильинична (я была с ней знакома, так как она приезжала в Ярославль и по просьбе отца посетила меня – не помню, в каком это было году) со своей приемной дочкой. Она была (или казалась?) уже взрослой, могучего вида девицей, училась в средней школе. Обе они промелькнули и куда-то умчались со смехом и шумом. Пришла М.И. Алигер, обследовала кресло, затем Люба увела ее к себе, но вскоре М.И. ушла, а Люба присоединилась к нам. За ужином шел разговор о поведении писателей во время войны. И.Г. с похвалой отозвался о мужестве Симонова и насмеялся над Леоновым, который вел себя панически при наступлении немцев на Москву, но успокоился, услышав, что к ней подходит армия Гудериана (решил, что это советский генерал). Тогда же я узнала подробности о смерти Марины Цветаевой.

<sup>125</sup> Таня: Лето 1975. «У него дома я была один раз. Мы собирались на его лекцию в Политехнический и приехали сначала к ним домой, а потом на машине вместе с И.Г. в музей. В доме были недолго. Я продемонстрировала свое полное невежество в искусстве. Спросила о какой-то картине (кубистской) – зачем это? И потом спросила, как научиться понимать это. Эренбург сказал, что надо смотреть, изучать, что это длительный процесс. Из разговоров только рассказ И.Г. о Париже после прихода немцев. Он сказал, что прочел Ахматовские стихи о Париже, что они совершенно невероятно правдивы, она почувствовала самое главное, словно увидела Париж духовным зрением. Рассказывал, что он пользовался в Париже неприкосновенностью как советский гражданин, и все время вел себя страшно вызывающе по отношению к немцам (например, входил в кафе, на котором было написано: евреям вход воспрещен). По дороге в машине Эренбург издевался над нашим транспортом. Говорил, что в метро в часы пик страшная скученность и развил целую картину нарастания давки, как понадобится медицинская служба, чтобы оказывать помощь искалеченным, и мы торжественно напишем, что только в нашем метро есть такая служба и что она лучшая в мире. Еще помню разговор мамы с Л.М. Она писала портрет М. Алигер. Был какой-то разговор, что трудно найти натуру для работы. Мама предложила себя. Но Л.М. ответила: “Вы для меня недостаточно уродливы”. В 1945 [1946] г., когда мы были в Кёнигсберге у Андрея, его друзья удивлялись и возмущались статьями И.Г. об их командующем. Боюсь соврать, кажется, Галицкий. Они его не любили, считали, что он ужасно обарахлился, грабил музеи и проч. А Эренбург писал о нем очень хорошо и создал ему славу. Подчиненные этого командующего считали, что Галицкий “купил” перо Эренбурга. Я возмущалась и начала убеждать Андрея, что Эренбургу нужен был этот Галицкий для его литературных целей, а о его славе он и не думал. Боюсь, что много в статьях Эренбурга таких непроверенных фактов. Во время войны я, как и все, очень любила статьи Эренбурга, всегда их искала и читала, а потом перестала им верить, мне казалось, что с фактами он обращается легко и произвольно».

## 1954. Москва

Последний раз я видела И.Г. в начале 54-го года. За несколько часов до отхода поезда в Ярославль я узнала о дискуссии по поводу «Оттепели» в каком-то клубе. Опоздав к началу, я едва нашла место в самом последнем ряду. Мы радостно закивали друг другу издали – у обоих было хорошее зрение. Мне показалось, что И.Г. выглядел лучше, чем раньше, держался бодрее – в этом не было ничего удивительного. Выступали работницы, школьники, студенты и студентки, говорили глупости. Обсуждение затянулось, до отхода поезда оставались считанные минуты, а завтра лекции в институте. Я отправила И.Г. наскоро написанную записку и убежала.

Следующий раз я увидела его в гробу.

В 59-м году вышла книжка Эренбурга «Стихи 1938–1958». После тщетных попыток ее достать я написала ему, просила помочь.

И.Г. быстро откликнулся на мою просьбу, выслал книгу<sup>126</sup>, в письме сообщал о своей работе, о новых замыслах, расспрашивал о моей жизни<sup>127</sup>. Это было летом 60-го года.

Заканчивая свои записки, хочу сказать, как глубоко сожалею, что в свое время не вела дневника, не стремилась запечатлеть мысли, высказывания, искренние признания И.Г. (он всегда был откровенен со мной). Это намерение никогда не появлялось у меня потому, что я ценила И.Г. за его личные качества, а не за громкое имя. Достаточно сказать, что он даже не принадлежит к числу моих любимых писателей. И я не сразу привыкла к тому, что, встречаясь после долгой разлуки, он прежде всего рассказывал, что написал и над чем работает, а уже потом – о событиях личной жизни. Со временем я поняла, что для И.Г. его писательский и журналистский труд и был главным делом его жизни, его личной жизни.

Вероятно, взгляды И.Г. оставили в моей душе на всю жизнь глубокий след, настолько прочный, что, позабыв их источник, я многие его мысли считаю своими. Одно несомненно, что И.Г. в значительной степени определил мои интересы, мое отношение к людям, к жизни, к искусству и литературе, сформировал меня нравственно, душевно меня обогатил. И мне горько сознавать, что я многое просто забыла, растеряла доставшиеся мне сокровища, и что при более бережливом к ним отношении я могла бы полнее, глубже и убедительнее обрисовать облик этого Человека, с душой сложной и противоречивой, наделенного большим умом, редким мужеством, благородством и тщательно спрятанной добротой.

Ярославль, 1976 год

---

<sup>126</sup> Надпись на книге: «Дорогой Ядвиге на память о тех годах. ИЭ 1960» (Минувшее-17. с. 170).

<sup>127</sup> «Письмо Эренбурга (ярославский штемпель 28 октября 1960): "Дорогая Ядвига, я тебе послал неделю назад книгу стихов. Читала ли ты в "Новом мире" первую часть моих воспоминаний? По моим рассказам ты кое-что из нее знаешь. Я кончаю теперь вторую часть – там есть и Киев, и Коктебель, и наш путь в Москву, и твое имя ("Ядвига"). Напиши мне хотя бы две строки о себе. Обнимаю тебя ИЭ"» (Минувшее-17. с. 170).



Ядвига, Андрей (старший брат), Ванда (первая жена Андрея). Баку, август 1925 г. Фото из личного архива автора

## Приложение

### Воспоминания о брате моем

У меня было два брата: Андрей, тремя годами старше, второй [Болеслав] – десятию. Этот обижал меня походя, ни за что ни про что. Пройти не мог мимо, чтобы не щелкнуть преобильно по голове. Андрюша всегда меня защищал, старался не дать в обиду<sup>128</sup>. И так всю жизнь от меня оберегал, обо мне заботился. Когда мне было худо, поддерживал меня и морально, и, если надо было, материально.

Жаль, жизнь нас все время разводила. Я в Киеве училась, он – в Полтаве. В 14-м году на войну ушел, в 18-м – в Красную армию. Родовались оба, когда в 21-м в отпуск приехал в Киев и меня увез к себе в Ленкорань (Азербайджан). В 23-м его в Ганджу перевели, а я замуж вышла, с мужем и маленькой дочкой уехала в 26-м году в Москву.

С тех пор редко встречались. Переписывались всегда. Только после войны почти каждое лето я у него проводила с дочерью и ее семейством<sup>129</sup>.

Брат был человек чистой души, никогда не фальшивил, был искренен до предела, правдив. Вспыльчив был, правда, но это общая наша соммеровская наследственная черта. Из-за нее мы оба не ладили с начальством, т. к. большей частью против него мы восставали. Из-за нее Андрея из части в часть переводили, а я мыкалась по всей России, по городам и селам. Но знаю: солдата брат никогда не обижал, недаром шоферы и ординарцы так любили его, что за ним из части в часть просились.

Работу свою любил до самозабвения, сил своих не жалел никогда, только мне в письмах жаловался, что спит ежедневно не более двух-трех часов в сутки. Ведь его никто не заставлял, сам установил такой режим (на штабной работе). Себя не жалел нисколько и в военное время, что неудивительно, и в мирное.

Был он щедр и великодушен; себя не жалел и своего ничего не жалел. Эта черта его женам не нравилась: если б не они, он бы все раздарил. Был гостеприимен, любил веселье, шутки, смех, застольные песни. Очень ребятишек любил. Как он с моей дочуркой возился! Учил ее ходить, таскал ее на своих могучих плечах маленькую. А когда уже на склоне его лет у него второй сынишка родился, как он ему радовался, как следил за его развитием, как самозабвенно играл с ним, отказывая себе в отдыхе!

Когда ему жена двойню родила, а первый мальчик через день умер, как он жалел его, как страдал! Как берег второго близнеца!

В юности брат руководил моим литературным развитием, снабжал меня целыми списками книг, которые рекомендовал прочесть (это были в основном русские и иностранные классики), и рассказывал, какое впечатление они произвели на него.

Но стихов почему-то не любил. И если я начинала читать их вслух (всю жизнь считала и сейчас такого же мнения держусь, что читать стихи про себя – все равно, что играть без звука на музыкальных инструментах), он звал ординарца и велел ему читать вслух, да погромче, устав внутренней службы. Тут уж не до стихов было. Кончалась эта забава шутливой потасовкой.

---

<sup>128</sup> Ядвига: 29.01.1974. «Старший брат меня, сестру, которая была на восемь-девять лет моложе, походя бил и обижал. А когда у него родилась дочка, стал нежнейшим отцом, стал бы и братом таким же, но я его так возненавидела, что отношения исправить он уже не смог. Зато Андрей был моим рыцарем и защитником всю жизнь (вероятно, потому, что воспитывался в закрытом учебном заведении и очень скучал по дому)».

<sup>129</sup> Это ошибочное утверждение, Я.И. Соммер бывала там чаще всего одна (сост.).

Зато театр брат любил. Приходилось ему жить в местечках, где театра не было (Кусары, Ленкорань, Майкоп), но уж если попадал в большие города, то все свободные от работы вечера проводил не в ресторанах или пивных, а в театрах. Посещал и драму, и оперу, и оперетту, и балет. И всегда отзывался о постановках со знанием дела. И уж тут ему не мешало, если со сцены лилась стихотворная речь (Шекспир, Лопе де Вега, Пушкин, Грибоедов).

## К портрету Ядвиги. Воспоминания дочери

Смешное занятие я себе придумала: вспомнить свою жизнь. Но когда ощущаешь, что жизнь кончена, то хочется вернуться к ее истокам.

Родилась я 9 января 1924 года. Мой отец был военным врачом в Ленкорани Азербайджанской ССР. Там же служил брат матери, а мама приехала к нему из голодного Киева и работала учительницей. Мама была умная, интеллигентная женщина, до этого она успела пережить любовь к Эренбургу и пропутешествовать с ним на Крым и Кавказ, она знала Мандельштама, Волошина, знала и любила поэзию, а отец был серым армейским врачом, на безрыбье попался. Маме казалось, что все в прошлом и ничего уже в жизни не будет. Потому она согласилась выйти замуж за моего отца. А брат, который недоволен был этим браком, не почел нужным вмешаться. Отношения не задалась с самого начала, очень уж разные были люди, но родилась я – и маме пришлось остаться с мужем, т. к. жить было трудно. Я себя не помню, конечно, в этом возрасте.

Помню я себя начиная с Саратова. Отец отпустил маму учиться в Саратовский университет, и она зимы жила там, брала меня с собой. С малых лет я помню, что меня вечно подкидывали каким-то людям. Удивительно, почему я выросла такой дикаркой? Я помню, что жила в доме какой-то тетки с папиной стороны (года в три), где меня научили всех окружающих женщин звать мамами. Когда мама вернулась, она очень обиделась, и я как-то почувствовала, что ей это не нравится, и перестала так называть. Мы жили на разных квартирах, которые мама снимала, но я плохо помню их, вернее, не помню последовательности. Помню маленькую комнатку, на которую надо было попадать по высокой крашеной лестнице. Помню, что часто бывала одна, гуляла одна. В это время я как раз увлекалась собиранием разноцветных стекляшек, которые облизывала языком, чтобы они сверкали. Мама, когда это обнаружила, водила меня к врачу, но никаких болезней у меня не обнаружили. Помню еще, что мама много читала и занималась, а между делом играла со мной в магазин: я ей что-то взвешивала на игрушечных весах и продавала. Мне это страшно нравилось. Было еще много других квартир. В одной, я помню, особенно часто бывала одна. По вечерам я долго играла на своей постели и так и засыпала не раздеваясь. В этой квартире произошла страшная история: ночью был переполюх – хозяйка увидела, что по крыше идут люди, ноги их обмотаны тряпками. Это были воры, это было очень страшно. Здесь же помню первую обиду и первую несправедливость. Мы играли во дворе с соседской девочкой. Вдруг она начала звонить в чужую квартиру, а сама убежала домой, а меня к себе непустила. Разгневанная хозяйка пострадавшей квартиры настигла меня и как следует отчитала. А я даже не поняла, зачем это было сделано, что это просто озорство. Так во дворе и установилась за мной дурная слава. Сюда же приезжала бабушка. Я помню, что она ходила на рынок за постным маслом, очень жаловалась, что скользко, она боится упасть. Вечером я уже не оставалась одна, бабушка занималась со мной, что-то читала и сшила моей кукле пальто. Куколка была маленькая, гуттаперчевая, но пальто было прекрасное, даже с мехом.

Глупо, может быть, все это вспоминать – но все-таки занятие для души. Никому, кроме меня, это не надо, но я ведь тоже человек. Хорошо вернуться в чистый мир детства и детских забот и огорчений. Теперешние заботы и огорчения отодвигаются, и кажешься себе такой, как ты была.

Я помню, как мама водила меня в фотографию вместе с приехавшей знакомой, как фотограф обещал птичку, как всем детям. Осталась карточка на которой стоит маленькая пухленькая и кудрявая девочка, очень славенькая. Мой муж стащил эту карточку у мамы и очень ее любит.

xxx

В Саратове у мамы было много подруг, некоторых я хорошо помню. Особенно я любила Клавдию. Она была яркая, веселая, живая. Мама потом рассказывала, что у нее было очень много поклонников, что ее очень любили мужчины, что она любого могла покорить. Но красотой особенной она не блистала. Как-то на всю жизнь у меня в душе остался образ этой женщины – победительницы. Я сама такой никогда не была. В Клавдии, очевидно, было очень много жизни, энергии, этим она и покоряла. Еще помню Наташу. В ее доме, у ее тетушек я жила, когда мама заболела воспалением легких, и ее отвезли в больницу. Там я помню большие комнаты и бульдога, которого я очень боялась. Приехал отец и увез меня. Он предлагал сводить меня к маме в больницу, но я не согласилась. Уже тогда, видно, я боялась новых мест и новых людей. Странно, все детство я торчала среди каких-то чужих людей, но так и не научилась развязности.



Однокурсники – студенты Саратовского университета (слева направо): вторая – Наталья Соловьева, третий – Виктор Бочкарев (1906–1994), пятая – Клавдия Сидорова, шестая – Ядвига Соммер. Саратов, 1928 г. Фото из личного архива автора

Летом мы жили у отца. Жили в разных городах<sup>130</sup>, но я не помню где. Очень смутно вспоминается жизнь у каких-то папиных друзей на большой станции. Там я отца нечаянно назвала дураком ни за что ни про что. Как-то это у меня случайно вырвалось. Я помню, что он шел в больницу, и у меня в душе была к нему только нежность. Но меня наказали. Странные вещи иногда делают дети. Там же на Пасху я помню мы играли крашеными яйцами, катали их, их было очень много.

<sup>130</sup> Первое докторское место отца после увольнения из армии было в Рузаевке, в Мордовии. Но Таню, возможно, возили еще в это время к тверским родственникам отца.

Лучше я помню первый приезд в Беднодемьяновск, где отец, наконец, обосновался. Очень милый домик, чистенький, чудный сад, комнатки и хозяйка, которая нас кормила очень вкусно. Помню пасхальный стол в этом доме, как я была поражена его роскошью. Мы с мамой в Саратове жили более чем скромно. Лучше помню приезд к отцу совсем из Саратова. Мы жили уже в другом доме. Лето было счастливое, там я дружила с соседской девочкой, вместе мы с ней бегали в стадо загонять их овец домой. Дом стоял на окраине, дальше было поле, мельницы, потом далеко речонка и деревня. Леса не было. Но около дома был огромный сад. Мы жили у очень богатых людей. При нас их несколько раз раскулачивали, они у нас прятали какие-то узлы. У них отбирали мебель, тряпки, а потом продавали на аукционе. Мне это даже тогда казалось странным. Очень хорошо было днем в саду, а вечером в окрестном поле. Там мы играли с ребятами. Там я почему-то помню, что впервые увидела небо в тучах, и тучи мне казались какими-то чудовищами, людьми, собаками и проч. Где-то недалеко от нашего сада стояла церквушка, там я находила кусочки риз и играла с ними. Помню еще много собак и кошек. Отец был охотником, и у него всегда было много собак.

xxx

Писать воспоминания – дело трудное и, может быть, и не нужное. К чему? Я это сама как-то плохо понимаю. Просто, пожалуй, влечет меня к себе мир моего детства, хочется подвести как-то итоги своей жизни. Но я, думая о будущих страницах своих воспоминаний, уже понимаю, как трудно написать искренне, не приукрашивая себя и не создавая перекоса и на плохом. Я вспоминаю, что плохое в детстве во мне было не очень сильно, но я по собственным впечатлениям знаю, что откровенности о дурном запоминаются сильнее хорошего и остаются в памяти, и человек кажется хуже, чем он есть. Кроме того, эти откровенные страницы просто невозможно никому показать, и не дай бог, кому попадутся! Что же, неужели же я такая плохая или все люди невольно открывают в себе дурное и кажутся не такими, какие на самом деле есть? Не знаю, что получится, но уже заранее чувствую все камни преткновения в моей жизни.

Из своих саратовских воспоминаний помню еще детский сад, в который меня водила мама один год. Наша руководительница держала садик частно, родители ей платили, и она скрывала от всех этот заработок. Поэтому мы почти не гуляли, ели каждый что-то свое, принесенное из дому, и иногда нас прятали под кровать, когда боялись, что явился кто-то чужой, может быть фининспектор!

В садике я вела себя смирно, уже там проявилась моя будущая черта – уметь поставить себя на второе, третье, десятое место – не лезть на первые места, не хватать самых популярных игрушек, не вызывать на самые завидные места в игре. Это я помню очень ясно.

Помню еще свой первый театр. Мама меня повела на дневное представление на «Конька-горбунка», а попали мы на какую-то взрослую пьесу, с любовью и убийством. Необыкновенное впечатление она на меня произвела! Во-первых, я, конечно, понимала, что «его» убили не «настоящему», но все-таки было тревожно, и я все время спрашивала маму – он на самом деле жив или нет?

Во-вторых, я влюбилась в актера, который играл главную роль, – и с тех пор на долгие годы любимой игрой про себя, любимой мечтой были какие-то перипетии любви из этой пьесы. Я уже их, конечно, не помню.

И подумать только, мне было не более пяти лет. Как рано просыпается что-то женское в девочке.

Мать моя жила в Саратове вольно, крутила романы напропалую, но я этого тогда не знала. Но меня она любила всегда и жаловаться мне на нее не за что, хоть впоследствии она и выговаривала мне, что я недостаточно заботливая мать. Но я-то считаю, что я была матерью своим малышам более самоотреченной, чем она, хоть и у меня были свои отвлечения и увлечения.

Когда мама окончила университет, мы вернулись в Беднодемьяновск и поселились в доме с большим садом. Лето было счастливым – сад, свобода, ребяташки-друзья, сборы опят на пнях

недалеко от нашего дома. Мы жили на окраине, наш дом стоял последним на улице, дальше были пустыри, амбары, мельница и затем поля, по-моему, еще с маленькими клочочками и межами. Леса в окрестностях не было.

Довольно далеко, у деревни, была речка, мы туда с девочками боялись ходить – боялись деревенских мальчишек. С мамой мы туда ходили – речка оказалась мелкой. Мама здесь начала учить меня грамоте. Почему-то я ненавидела эти занятия, когда меня отрывали от игр, и я вымучивала из себя какие-то слоги, читала и писала. Кончилось тем, что мама испугалась этой ненависти к занятиям и прекратила их. Но читать я научилась и потом как-то незаметно стала читать сама. К первому классу я уже читала прекрасно. Помню здесь уже свою несправедливость, которая долго царапала мою совесть. В начале нашей жизни мама познакомила меня с дочкой ее приятельницы, Верой. Та была «воспитанная» девочка. Мы с ней гуляли (правда, под опекой мам). Она мне запомнилась только тем, что все время собирала какие-то «лекарственные» травы, т. к. говорила, что ее мама очень больна. Потом в доме папиных друзей я познакомилась с другой девочкой, про которую ходила дурная слава, т. к. она лазала по крышам, дралась с мальчишками и вообще была сорванцом.

Как ни странно, мы подружились, и я влюбилась в свою новую подругу со всем пылом своего сердца. Я покинула Веру жестоко и несправедливо, наговорив ей каких-то колких слов. Она мне казалась ужасно пресной и скучной. Потом-то меня мучила совесть, но тогда я изменила жестоко и бесповоротно.

Концом счастливой летней жизни было путешествие с отцом на охоту. Мы ездили куда-то в лес, в овраг, к чудесному ключу, жгли там костер, что-то на нем варили. Это на всю жизнь осталось одним из самых поэтических воспоминаний. Потом я долго пыталась жечь костры около дома. Один раз чуть не подожгла террасу (кстати, почему-то очень запомнилась эта терраса, с разноцветными стеклышками).

xxx

Осенью счастье кончилось, начались ссоры между родителями, всеобщее раздражение и скандалы. Помню такую сцену. Мама надевает пальто, берет сумочку, плача собирается, говорит, что уходит искать квартиру. Отец надевает пальто, берет на поводок трех своих собак, говорит, что ему найти легче квартиру в городе и собирается уходить. Я валюсь на пол в полном отчаянии и начинаю дико рыдать и колотить ногами по полу. Помню ощущение страха, что отец придет пьяный и опять будет скандал. Часто приходили гости, пили. Один раз я просила отца, чтобы он не пил и не ссорился с мамой. Не знаю, какое действие оказали мои слова, по-моему, он был удивлен, т. к. в своих отношениях с мамой меня совсем не принимал во внимание.

xxx

Наконец вся эта трагическая чехарда лопнула, мама рассердилась окончательно и уехала куда-то устраиваться. Добавилось еще то, что ей почему-то не давали нагрузки в школе, где она начала работать, приехала бабушка (которую я люто возненавидела почему-то). Мама уехала, оставила нас с бабкой у отца, я совсем отбилась от рук, ссорилась с бабушкой, своевольничала, целыми днями дулась. Настроение было отвратительное, я теперь очень хорошо понимаю, как родительские ссоры дурно влияют на детей.

Мама приехала, начались сборы. Я относилась к переезду безразлично. Привыкла уезжать от отца. Мы переехали в Подлипки, поселились в комнате в новом доме. С нами поселили еще одну учительницу, страшную дуру и скандалистку. Она преподавала педологию. Комнату разделили мысленно. Смешную картину представляла комната. Вместо столов – ящики. Только у бабушки – кровать, мы с мамой спали на каком-то то ли топчане, то ли раскладушке. Уж о шкафах и говорить нечего, вся посуда стояла тут же на ящиках. На чем мама занималась – не помню.

Была осень, очень был красив лес, который начинался сразу около нашего дома. Я гуляла одна, и очень скоро появилась какая-то компания. Но недолго мы прожили в этом доме. Произошел страшный скандал с нашей соседкой, как раз тогда, когда я болела корью. Что-то она возражала против детских горшков. Мама вспылила и покидала в нее всю нашу несчастную посуду, стоявшую как назло под рукой. Маму судили за антисемитизм, дали ей условно шесть месяцев, а нас переселили в барак, где мы очень весело жили, т. к. там было много народа, много ребят. Меня было мать устроила в детский сад, но я искренно его возненавидела, стала оттуда бегать, заболела (целую зиму кашляла), и мама избавила меня от этого казенного заведения. Как тяжело детям в казенном заведении! Как их ущемляет коллектив, особенно робких и тихих.

Помню из детсадовских воспоминаний только что почему-то было очень много всего «запрещенного»: сказки запрещались, нельзя было петь некоторые песни – они были запрещены. Наша руководительница, чтобы мы не мешали и не шумели во время еды, рассказывала нам сказки. Кто-то из ребят, как следует быть, наябедничал заведующей. Она при нас сказала руководительнице: «Ну как вам не стыдно!» Та смутилась<sup>131</sup>.

[1979], Москва

---

<sup>131</sup> На этом воспоминания обрываются.

## Удмуртская битва

После расставания с Эренбургом в Москве Ядвига в марте 1921 года вернулась в Киев.

В начале июля 1921 года старший брат Андрей, служивший в Азербайджане, приехал в отпуск в Киев и увез Ядвигу в Ленкорань, где она через некоторое время поступила работать в школу.

В апреле 1923 года Ядвига вышла замуж. Муж, Михаил Волков, военный врач, в это время служил в местечке Кусары, куда она приезжала во время школьных каникул. В январе 1924 года родилась дочь Таня.

В августе 1926 года Ядвига поступила в Саратовский университет на педагогический факультет по отделению русского языка и литературы. Муж уволился из армии и получил докторское место в Рузаевке в Мордовии.

После окончания университета в 1930 году Ядвига была направлена на работу в качестве преподавателя в школу совхозного ученичества (ШСУ) в поселок Карачарово Конаковского района (в то время – Московской, а позднее Калининской области). Школа базировалась в бывшей помещичьей усадьбе князей Гагариных.

Весной 1932 года ей удалось оставить работу в совхозной школе и устроиться в московский журнал «Овладеем техникой» (редакция располагалась на Солянке, д. 12, в здании Дворца Труда).

Но уже в ноябре 1932 года она была направлена преподавателем в педтехникум города Покров Орехово-Зуевского района Московской области.



Преподаватели и учащиеся педтехникума города Покрова Орехово-Зуевского района. В центре, во втором ряду – Ядвига Sommer. На втором снимке – здание педтехникума. Покров, 1933 г. Фото из личного архива автора

Старший брат, побывавший у нее в декабре 1933 года, так описывал ее жизнь вдвоем с дочкой:

«Езды от Москвы три часа поездом (102 километра), а потом от станции четыре километра. Картина – совхозская. Зима, санная дорога с мужиками, не желающими съезжать с нее в сторону, сосновый лес, деревянный городок – это уже в моем представлении твердо связывается с Ядвигой. Четыре версты пехом я прошел довольно быстро.

У Ядвиги дела с ее предполагаемым переводом пока не выяснены – дело стоит, и причин она никак добиться не может.

Провел у нее несколько часов. Живет она плоховато. Вместо кровати, как она называет: эшафот из трех досочек мебели. Нет почти, да и вообще вещей никаких. По-пролетарски. Какая-то одинокая она теперь, отброшенная от всех, и, естественно, туго приходится, да и не с кем словом по душам перебраться. В общем на меня тяжелое произвела впечатление».

Но летом 1934 года Ядвига, наконец, покидает Покров.

Дальше она так описывала свои приключения:

«Бревенчатые, крытые тесом, избы, остренькие верхушки сосен, перезвон коровьих бубенцов...

А сколько волнения и тревог в Москве!

Сначала не хотелось ехать сюда, просто мороз по коже продирает, когда ночью проснешься и вспомнишь Якшур-Бодью. Думала, подруги запростестуют, отговорят, потребуют, чтобы устроилась иначе. Нет, известие приняли спокойно. И знала уже, что поеду, но было страшно. Подхлестнули препятствия: не прибывали деньги, <...> а оставаться дольше в Москве было неудобно, <...> нужно было освободить комнату на Петровке.

Я нервничала, хотя и знала, что не все пути мною испробованы и что положение не такое безвыходное. Ныла и советовалась.

Потом это надоело: пошла в Наркомпрос, получила деньги, билет взяла с помощью Удмуртского представительства – и в тот же день выехала. Накануне съезда писателей. Впрочем, из газет узнала, что его почему-то отложили до 17-го.

Ижевск не понравился. Мы с Танькой немедленно прозвали его педлом. На вокзале сразу бросилось в глаза: по радио транслируют романсы Рахманинова, а в буфете стаканов не хватает. Чудно одеваются крестьяне: на ногах лапти, на головах фетровые котелки. Танька хохотала.

Переехали на Узлинский вокзал. Оказалось, вокзал ремонтируют, а поезд пойдет завтра утром, ночевать негде, денег осталось в обрез. Пошла к дежурному. Убеждаю, что должен нам предоставить какую-нибудь комнатку для ночлега. Парень нагловатого вида заявил, что негде, устраивайтесь, как знаете. Кто-то из служащих посоветовал ехать до станции Люкшудья, там переночевать, а утром ехать дальше»<sup>132</sup>.

Так в августе 1934 года они с дочерью оказались в Удмуртии, в поселке Якшур-Бодья, где тоже был педтехникум. В Якшур-Бодьинском районе в то время проживало около двадцати тысяч жителей.

---

<sup>132</sup> Письмо без начала и конца – неизвестному (19.08.1934).



Учащиеся педтехникума в поселке Якшур-Бодья. В центре, во втором ряду – Ядвига Sommer. Якшур-Бодья, 1934 г. Фото из личного архива автора

Не было ни единого случая в трудовой биографии Ядвиги, чтобы ее работа проходила без столкновения с начальством. Разобраться в подобных конфликтах крайне сложно, имея в виду крайне неуживчивый характер Ядвиги. Именно конфликт в Якшур-Бодье получил широкую огласку, выплеснувшись на страницы местной прессы, и далее совершенно неожиданно стал известен всей стране.

Ядвига заранее, чтобы избежать неприятностей, стала искать новое место, к этому же ее подвигали подруги. Эдварда ей писала: «О деле: брат Адки – Коля<sup>133</sup> переезжает на работу в Ижевск, в НКВД. Адка ему уж сообщила о тебе, так что на днях, когда он туда уедет и вышлет адрес, я тебе сообщу, и явись к нему за поддержкой в смысле устройства твоего в Ижевске (он будет там на крупнейшем посту). Затем было бы довольно существенно, если б к июлю, оставив мать на попечение работницы, ты явилась бы в Москву с Таней, на предмет устройства в окрестностях, а то по почте тебе вряд ли удастся устроиться под Москвой. Мать Люси утверждает, что у нее есть связи в Тушине (под Москвой). Может быть, что-нибудь выйдет. Одним словом, надо действовать, а не только лишь рассылать заявления» (24 апреля 1935).

Но 17 мая 1935 года в газете «Сталиния» – органе Якшур-Бодьинского райкома ВКП(б) и райисполкома, выходившей на удмуртском языке и частично на русском, – появилась статья заведующего районным отделом народного образования Халтурина под названием «Выше классовую бдительность в воспитании молодежи».

<sup>133</sup> Нехамкин Николай Яковлевич (1890–1969, похоронен на Новодевичьем кладбище) – член РСДРП с 1906 г. В годы Гражданской войны – сотрудник Гомельской ВЧК. В 1921–1930 гг. занимал высшие прокурорские должности в РСФСР (прокурор Верховного Суда РСФСР, зам. прокурора Московской области и др.). В 1930–1936 гг. служил в НКВД. С августа 1936 г. – зам. начальника УНКВД Удмуртской АССР. Уволен из НКВД 1.09.1936 г. Зам. председателя СНК Удмуртской АССР (1936–24.05.1938). С 1940 г. и до ухода на пенсию в 1957 г. – адвокат Московской коллегии адвокатов. Редактор вышедшего в 1925 г. и затем многократно переиздававшегося «Уголовно-процессуального кодекса с постатейным комментарием». Брат Ады Чернявской.

«В постановлении Центрального комитета партии о начальной и средней школе дана важнейшая директива парторганизациям, комсомолу, школе и учительству. В этом постановлении сказано:

„В период социализма, когда пролетариат осуществляет окончательное уничтожение классов в условиях обостренной классовой борьбы, исключительно важное значение приобретает выдержанное коммунистическое воспитание детей в советской школе и усиление борьбы против всяких попыток привить детям советской школы элементы антипролетарской идеологии“;

Як<шур>-Бодьинский педтехникум в воспитании молодежи еще не поднялась до уровня тех задач, которые ей пред'являет страна. Воспитание учащихся сильно хромает. Задачу большевистского воспитания учащихся педагоги до сего времени не сумели сделать своим первоочередным делом.

Преподавательница русского языка и литературы Sommer молодежь воспитывает в антибольшевистском духе.

„Очень ограниченный горизонт в Як<шур>-Бодье. С одной стороны – холмы, с другой – леса" пишет Sommer в своей школьной газете.

Из этого „ограниченного" горизонта Sommer выводит и антиленинскую теорию о невозможности овладения современной наукой и развития молодежи в условиях Як<шур>-Бодьи. „Быть может, оттого и умственные горизонты нашей молодежи так ограничены, так узки" продолжает Sommer.

Указания партии о максимальном повышении академической успеваемости Sommer игнорирует. „Что делают, о чем думают они? Об учебе, об отметках, о катании с гор на лыжах" говорит она. Борьба за повышение академической успеваемости для Sommer является второстепенным делом. Поэтому и она учащихся ориентирует лишь на знакомство с жизнью городских ребят. Отсюда и не случайно выпускной курс неудов имеет по языку и литературе 12 проц.

Половое и антирелигиозное воспитание молодежи занимает одно из первых мест в комвоспитании детей. Но и это в техникуме является самым отсталым участком работ.

Безбожный кружок (руководитель Корепанова) не работает. Учительнице Корепановой было поручено организовать доклад о половом воспитании, но не сделала. „Я об этом совершенно забыла" отвечает она на заданный вопрос. Отсутствие полового воспитания в техникуме привело к тому, что студент Вахрушев, будучи на практике в Пислегудской школе, вступил в половую связь с 14 летней ученицей.

Статья Sommer и поступок Вахрушева говорят о совершенно слабой постановке коммунистического воспитания учащихся техникума и о протаскивании антиленинских теорий со стороны агентов классового врага.

За правильное воспитание детей должна отвечать не только дирекция и отдельный педагог но и комсомольская организация и подколлектив в целом»<sup>134</sup>.

Халтурин // Сталин'ья : УАССР-ысь Я-Бодья ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн органзы. 1935 № 24 (17 мая).

По итогам этой статьи последовали оргвыводы, о которых сообщила та же местная газета:

«По селькорматериалам

Sommer снимается с работы

Заметка „Выше классовую бдительность в воспитании молодежи" (от 17 мая) написана по существу – сообщает Наркомпрос УАССР. За некоммунистическое воспитание Sommer, преподавательница Як-Бодьинского педтехникума снимается с работы, а за халатное отношение к проверке преподавания директору техникума Иванову и зав. учебной частью Вахрушеву поставлено на вид».

---

<sup>134</sup> Текст приводится с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.

Сталин'ья. 1935 № 34 (17 июля).

А далее события стали развиваться совершенно удивительным образом. Никто и предположить не мог, что в качестве защитника Ядвиги выступит центральный орган партии и напишет о ней один из самых на тот момент известных в СССР журналистов.

«Чтобы добраться до селения Якшур-Бодья, надо добрый десяток километров пробираться через лес, ближайший город находится в 30 километрах, и это – Ижевск. Места в общем довольно глухие, – и как отрадно, что в Якшур-Бодье, в селе, которое до революции вряд ли насчитывало больше десятка грамотных, есть теперь педагогический техникум. Учатся в нем сыновья и дочери местных крестьян, в большинстве – удмурты, и недавно на выпускном вечере учительница Соммер горячо говорила только что окончившим курс молодым просветителям удмуртской деревни, какая пред ними стоит интересная и благодарная задача.

Учительница Соммер говорила о новых кадрах, о новых людях, о заботе и любви, которыми их окружают коммунистическая партия и советская власть. Учительница Соммер привела выдержки из речи товарища Сталина на выпуске академиков Красной Армии и свое слово закончила призывом к учителям сделать “Вопросы ленинизма” своей настольной книгой.

Так говорила учительница Соммер, и ей аплодировали молодые учителя, и на нее смотрели с лаской и приязнью ее ученики. Но когда учительница Соммер, садясь на свое место, перевела глаза на директора Иванова, она замерла, как кролик перед пристальным и тусклым взглядом удава. Стало ясно, что она сказала в своей речи нечто ужасное, непоправимое. Что?

– Я не возражаю против вашей речи в основном, – сказал директор грубоватым голосом. – Но как вы ее начали? Ваши первые слова?

Первые слова были: „Мне грустно с вами расставаться“. Понимает ли преподавательница русского языка Соммер, что она совершила?

Нет, учительница Соммер не понимала. Ей действительно было грустно расставаться с группой, с которой она работала, с которой сжилась, которой отдала столько сил, внимания, любви. Нет, она не плакала, не рыдала, не билась в отчаянии. Она только на одну минуту взгрустнула.

Директор Иванов действовал методически и последовательно. Надо расследовать, что это такое у учительницы Соммер: случайный ли припадок или тщательно скрываемый глубокий порок, вроде тайного запоя. Грустила ли она раньше? Видел ли кто ее в состоянии грусти? Не вздыхала ли она?

Прямых улик не было. Никто не мог указать на случай явной или тайной грусти. Нет, учительница Соммер всегда на людях отличалась бодрым и энергичным настроением. Она считалась очень хорошей учительницей и совсем недавно ее премировали.

Однако, тщательно перешарив все школьные тетради, директор Иванов отыскал то, что ему надо было. Есть улика! Однажды среди сотен различных фраз, продиктованных с целью поймать ученика на крючок этимологии и синтаксиса, была продиктована и такая: „Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова“. Ага! Грустные слова... Тщетно Соммер указывала, что не в грусти тут дело, а в запятой, разделяющей сложно-подчиненное предложение, и взято роковое это предложение из стабильного учебника Аванесова. Не помогли эти доводы. Дознание установило, что сложно-подчиненное предложение принадлежит Есенину...

Итак, во-первых, “грустно с вами расставаться“. Во-вторых, “роняю грустные слова“. Упадочная психология учительницы Соммер была установлена точно.

Однако одна психология недостаточна. Для криминала нужна и идеология. Откуда и почему установленная грусть?

Подобрали по фасону и идеологию. Полгода назад учительница Соммер написала для стенной газеты техникума статейку. В ней призывала она слушателей к большей активности, упрекала их в отсутствия широких интересов, указывала на низкий уровень культуры. Соммер писала о слушателях:

„...Зная меньше городских ребят того же возраста, они как будто и не хотят знать больше. Газеты читают одиночки, книг не читает почти никто. А между тем это – главный способ в их возрасте ознакомиться с жизнью, с той прекрасной, напряженной жизнью, какой живет наш Союз...

Ведь пред вами неограниченные возможности. От вашей энергии, способности, желания зависит и ваша дальнейшая жизнь и жизнь страны. Почему с таким трудом прививаются у вас культурные привычки?“

Так писала учительница в небольшом селении, затерянном среди лесов, и видно из этой статьи, что не замкнула себя в педагогический футляр эта молодая работница просвещения. Против статейки ничего не возразишь, – хорошая, призывная, бодрая статейка. Но и тут начало испортило всю музыку.

Начала Sommer свою статейку для “красоты слога“ так: „Очень ограниченный горизонт в Якшур-Бодье: с одной стороны – холмы, с другой – леса. Быть может, оттого и умственный горизонт нашей молодежи так ограничен, так узок“. Слова нет, нередкость неудачное для педагога начало. Но из всей статьи совершенно ясно, что холмы и леса приплетены только для “словесности“ и в крайнем случае свидетельствуют лишь о том, что педагоги в Якшур-Бодье не слишком сильны в марксистской грамоте. Однако сейчас же в исключительно безграмотной статье, напечатанной в районной газете, заведующий районным отделом народного образования Халтурин объявил учительницу Sommer “агентом классового врага“ и проводником анти-ленинских теорий.

Вот теперь получилось все, что надо:

1) грусть при расставании с учениками, 2) грусть в диктанте, 3) холмы и леса. И психология упадочничества, и антиленинская идеология.

И была учительница Sommer изгнана с позором из рядов учительства с грамотой, в которой директор Иванов начертил: “за протаскивание контрреволюционных теорий“. Это значило: всей дальнейшей педагогической работе – крышка! Кто же станет всерьез разбираться в том, действительно ли тут протаскивание контрреволюции или же компот из грусти с лесами и холмами?..

А между тем совершенно ясно, что если есть в Якшур-Бодье действительно никуда не годный педагог, подлинный человек в футляре, чиновник старого склада, то это – директор Иванов. Непонятно, кто присвоил этому человеку право лишать учителей права преподавать во всем Союзе. Ведь для того, чтобы выдать педагогу такого типа волчий билет, надо обладать и полномочиями, и сведениями, и ответственностью несравненно большими, чем те, какими располагает директор сельского техникума. Ни профессиональная, ни партийная организации не принимали участия в дисквалификации учительницы Sommer. Просто директор Иванов словно вымазал дегтем ворота у квартиры учительницы, а сделать это несравненно легче, чем руководить техникумом и исправлять ошибки учителей.

В нашей стране растет чудесная, жизнерадостная молодежь, и бодрая, веселая, радостная энергия разлита повсюду. Вся наша система воспитания к труду гонит прочь уныние, маловесие, меланхолию... Однако это не значит, что всюду вместе с ними изгнана и пошлость. Человек в футляре ухитряется опошлить и жизнерадостность. Он превращает радость в казенную повинность и зорко следит глазами унтера Пришибеева, все ли смеются по команде, им самим придуманной. Сам он лишен способности смеяться. Он может лишь в беспредельной услужливости корчить гримасы смеха. Это он опошляет нашу прекрасную жизнь, объявляя грусть контрреволюцией. Ему нужны не живые люди, неприятные чиновнику своей разносторонностью, своей индивидуальностью, а штампованные весельчаки, у которых нарисована одинаковая улыбка. Изгнав грусть, он не подозревает, что сам он вызывает чувство грусти. Грустно, директор Иванов, что у нас есть еще чеховские педагоги в футлярах...».

Заславский Д. «Разрешите погрустить!» // Правда. 1935 № 222 (13 авг.).

И обязательный отклик через месяц по результатам статьи:

«По следам материалов “Правды”

“Разрешите погрузить!”

„Прокуратура Удмуртской АССР сообщает, что факты, изложенные в фельетоне тов. Заславского “Разрешите погрузить!” (“Правда”, 13 августа) полностью подтвердились.

Директор Якшур-Бодьинского педагогического техникума Иванов привлечен к уголовной ответственности. Заведующий районным отделом народного образования Халтурин, редактор местной газеты “Сталинья” Ившин и инспектор Наркомпроса УАССР Горбушина привлечены к партийной ответственности.

Преподавательница Sommer приказом Наркомпроса УАССР восстановлена на работе».

Правда. 1935 № 244 (4 сент.).



Ядвига с дочерью Таней. Ижевск, 1935 г. Фото из личного архива автора

После увольнения в июне 1935 года Ядвига отправила дочку в Беднодемьяновск к отцу и сорвалась в Москву. Она поселилась у Эдварды, на Фурманном, а поскольку письма с описанием травли отправляла в высокие инстанции еще из Якшур-Бодьи, стала обивать пороги, пытаясь узнать – есть ли по ним какое-то движение.

Конечно, никто не ожидал такого оглушительного результата.

Вернувшись в конце августа в Якшур-Бодью, сразу после восстановления в педтехникуме, она подала заявление об уходе.

На самом деле К.Н. Иванов был снят с поста директора лишь в апреле 1937 года и 21 июня арестован. Но не по делу Ядвиги, конечно. Умер Иванов в лагере от болезни в ноябре 1940 года. Теперь он считается известным и уважаемым удмуртским литератором и педагогом.

Странное время! Власть карала, но при счастливом повороте фортуны могла и защитить. Самый завзятый злодей Давид Заславский (иначе его не назвать – беспощадное партийное

перо) творил добрые дела, а «известный» литератор преследовал молодую учительницу за Есенина и «грустные» мотивы.

Кто-то, заметив добрые дела, скажет: какой же Заславский злодей? А кто-то, наоборот, не заметит добрые и напишет, что Иванов – гонитель и негодяй.

И те, и другие – правы и неправы одновременно. Как бы то ни было, но именно Заславский спас Ядвигу в ситуации, когда она, как минимум, могла потерять сначала работу, а потом разлучиться с профессией и получить поражение в правах.

Но Иванова после статьи в «Правде» все же отдали под суд, который состоялся в Якшур-Бодье 25 сентября. Ядвига была вызвана в качестве свидетеля.

Она так описывала свою поездку в письме дочери:

«В тот день была ужасная погода и путешествие мое было не из легких. Туда пришлось ехать поездом – на автобус билета мне не дали. Приехала на Узгинку в два часа ночи. Темно – хоть глаз выколи, небо все обложено тучами. Села я в тележку почтовика, со мной какая-то женщина с ребенком. Было очень страшно, потому что ни мы, ни возчик ничего не видели. Один разок опрокинулись, хорошо, что не в грязь.

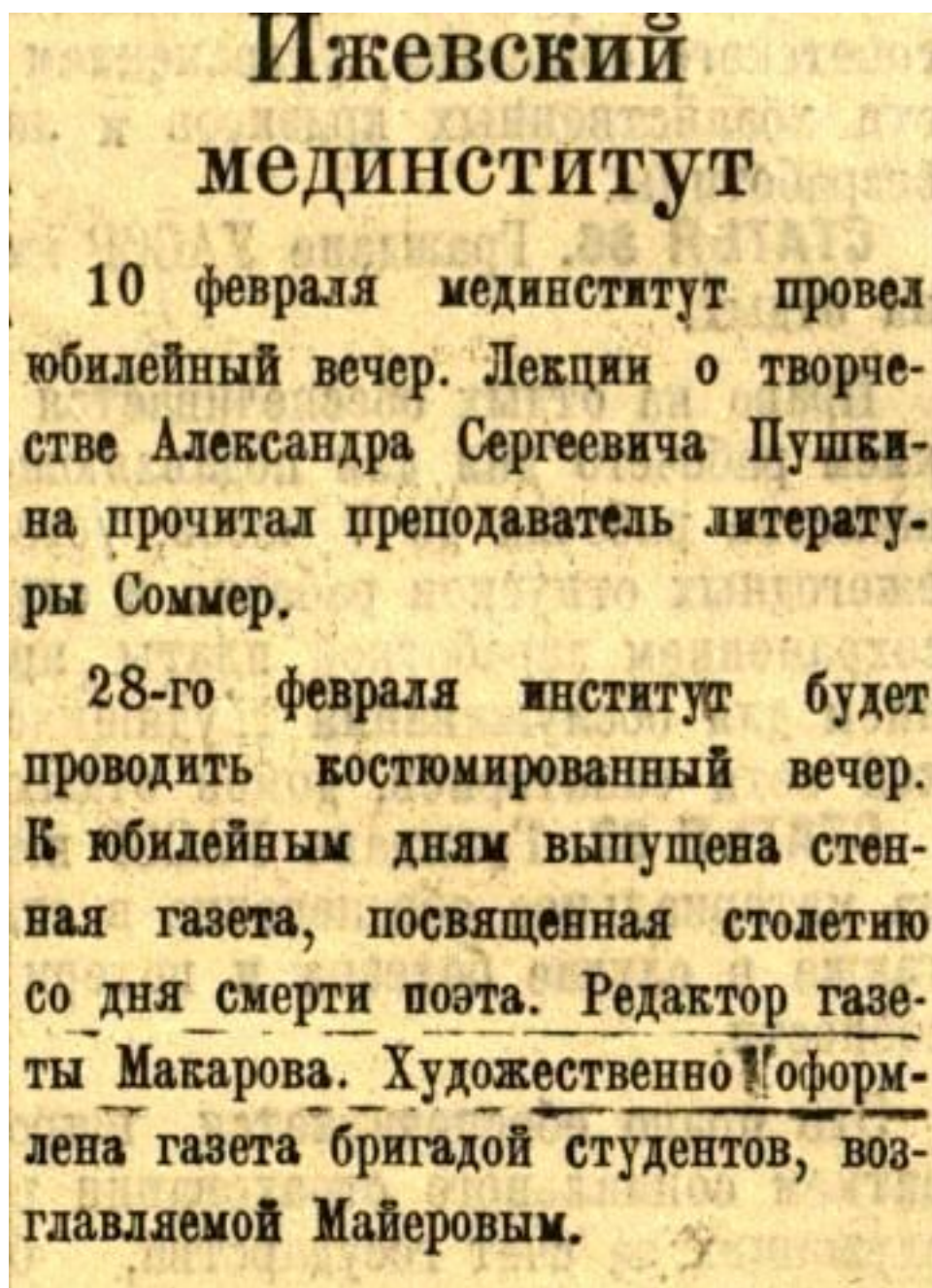
На другой день поехала грузовиком. Так мы ехали до Ижевска шесть часов вместо двух. Каждый подъем брали с боем. Ехали все время под дождем – грязь невылазная. Хорошо, что Андреевская дала мне шубу для Юры (который работает в Ижевске в редакции газеты “Дась лу”), так что было тепло, и я не промокла (я ее надела сверх пальто)».

Ее бывшего начальника приговорили к одному году принудительных работ. Фактически это означало, что он оставался на прежнем рабочем месте, и у него просто ежемесячно вычитали четверть зарплаты в пользу государства. Однако Иванов решением суда остался недоволен и решил судиться дальше, поэтому подал апелляцию в ижевский суд.

Ученики в Бодье встретили Ядвигу очень тепло – после ее ухода у них так и не было преподавателя по русскому языку. Теперь она работала в Ижевске: в Медрабфаке (вела три группы 4-го курса), в Музыкально-художественном техникуме и в Театральной студии. Занятия шли в две смены. В студии занятия затягивались до 11 часов вечера. Обедала в столовой. С ней были дочка и мама, бабушка Тани, жили все в одной комнате.



Ученица 6«а» школы № 23 г. Ижевска Таня Соммер (слева – первая). Фото из газеты «Егит большевик», Ижевск, 1937 № 48 (20 мая)



Газета «Молодой большевик», Ижевск, 1937 № 19 (14 февр.)

Три года Ядвига проработала в Ижевске. Но ей надоела школа, и она решила кардинально переменить свою жизнь. Забрала дочь и уехала в другой город. И с 1 сентября 1938 года стала преподавателем методики литературы в Ярославском государственном педагогическом институте<sup>135</sup>.

<sup>135</sup> Переезд в Ярославль, скорее всего, был связан с появлением в жизни Ядвиги новой подруги – Ады Семеновны Сонкиной и ее мужа, профессора, доктора филологических наук Григория Григорьевича Мельниченко (1907–1994), который с 1934 г. являлся доцентом Удмуртского пединститута. В сентябре 1937 г. он перевелся в Ярославский педагогический институт, где в 1949–1982 гг. возглавлял кафедру русского языка. А.С. Сонкина работала как в Удмуртском, так и в Ярославском пединститутах – доцент, блестящий методист русского языка. Семья Мельниченко-Сонкиных – соседи Ядвиги по городку пединститута на Которосли и ближайшие коллеги. У них не было своих детей, и А.С., имея характер жесткий и настойчивый, опекала



Театр имени Ф.Г. Волкова. Ярославль, 13.09.1938 г. Фото из личного архива автора



То же фото после обработки.

## **Жизнь и мнения Ms Эдварды**

*Жизнь – это закономерная, сознательная белая дорога, со вспышками счастья, творческой работой ума и с неизбежно ожидающим нас бессмертием, если мы будем не случайными песчинками, а чувствующими свою связь со всем человечеством, которое точно часть тебя – останется жить, когда ты умрешь.*

*xx*

*Я всему предпочитаю письма. Когда я умру, пусть мне положат на грудь письмо, которое я, может, всю жизнь ждала, но прочесть не успела. И будет – too late.*

## Том первый – стернианский

### Глава I (11 сентября 1926, суббота)

Совершенно очевидно для меня, что Ядвиге нужен Питер<sup>136</sup>.— А мне нужна она, как было всегда и, верно, останется впредь.—

Я здесь живу недели три, занятия начнутся 15 сентября. Педагоги наши еще не вернулись из Лондона, куда они ездят каждое лето. Пока даю уроки, живу у Любы, которая еще не вернулась из отпуска, и занята поисками квартиры для меня и мамы, которая должна приехать сюда.—

Хотя:

*На костер разожженных созвездий*

*Взвесть не позволю мою одичавшую, дряхлую мать...*

Маяковский

Но взять ее в Питер необходимо для ее же блага, и для согласного процветания всей нашей благородной семьи.

---

<sup>136</sup> Чтобы длинное тире не повисало одиноко на строке, пробел перед ним убран по всей книге.

## Подруги

Катюшка<sup>137</sup> мне еще не писала из Москвы. Так не годится! Она мерзавка. Проездом из Киева в Питер остановилась на неделю в Москве – у отца и у Люси<sup>138</sup>. Видела и Нюсю<sup>139</sup>, – всю шайку, словом, но Катюшка еще оставалась тогда в Киеве.— Интересно, как Ядвиге понравился Володя?<sup>140</sup> Я о нем очень хорошего мнения.—

---

<sup>137</sup> Е.Д. Трошенко.

<sup>138</sup> Людмила Вайнберг.

<sup>139</sup> Бескина Анна Абрамовна (1903–1937) – литературный критик, журналист. С 1926 г. репортер в «Ленинградской правде». В 1928–1931 гг. аспирантка Института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока в Ленинграде. Расстреляна на Соловках 2 ноября 1937 г. Ее муж – Меламед Израиль (Изя) Моисеевич (1898–1936) – редактор «Истории фабрик и заводов», научный сотрудник Института истории Ленинградского отделения Коммунистической Академии им. И.В. Сталина. Расстрелян в 1936 г.

<sup>140</sup> Днепров Владимир Давыдович (Резник Вольф Давидович; 1903–1992) – философ, литературовед. Муж Е.Д. Трошенко. В это время работал в аппарате ЦК ВЛКСМ, где занимал должность зам. заведующего отделом политпросвещения; с 1925 г. являлся слушателем Института красной профессуры.

## Романы бывают не от чувственности, а от идеологии

От Кати из Киева получила потрясающую характеристику Борькиной Тамары<sup>141</sup>, – вскрыто ее социальное содержание. И выражение «жеманная самочка» – самое мягкое о ней. —

Тамара, неуклюже совращаемая Борей ко всякой пакости, – начиная и кончая опиумом, – подурнела и похудела на двадцать фунтов. И, страшась родительского недоумения и вспышек гнева со стороны родителей же на своего возлюбленного (упорно не дающих благословения на ее брак с «соблазнителем»), спешно уехала поправляться к двум почтенным теткам в деревню. — О таких вещах я могу писать только Эренбурговским стилем. Пошлее оригинала – повторяет в жизни себя – любовь Жанны Нэй<sup>142</sup>, причем Борька – Халыбьев!<sup>143</sup> И все это не так хорошо, как жалобно. Продолжаю. —

---

<sup>141</sup> Вероятно: Гиневская Тамара Иосифовна. Жена известного психолога, действительного члена АПН СССР А.В. Запорожца (1905–1981).

<sup>142</sup> Роман И.Г. Эренбурга «Любовь Жанны Нэй» (М., 1925).

<sup>143</sup> Герой романа И.Г. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1922).



Эдварда. Ленинград, 6.04.1926 г. Фото из личного архива Е.И. Хатовой

По отъезде Тамары Боря вызвал меня на длинный сентиментальный разговор о моей к нему любви в детстве и о моих письмах к нему. Разговор длился дня два – перманентно. И он был мне ужасно жалок, то есть Боря, но в хорошем смысле.— Но после этого разговора у меня возникла реакция, вследствие которой я решила больше его не видеть. Неуважение к нему смешалось с отвращением, хотя я ему не желаю зла. Эта оговорка нужна для дальнейшего.

— У Тамары есть брат, мой старый приятель, – художник.— Он ненавидит Борю всеми фибрами души, так как считает, что Боря нечестно поступает с Тамарой. Брата зовут Фима<sup>144</sup>. Предполагая, что я люблю Тамару, Фима пришел ко мне и изложил, что он жаждет вендетты.

Дело в том, что во время отсутствия Тамары обнаружилось тщательно скрываемое полтора года обстоятельство, что она курит опиум. Я предложила Фиме послать Тамару в Питер, беря на себя заботу о ней.— Тамара во время своего пребывания в деревне писала мне ежедневно и жаловалась, что она погибла и несчастна.—

Я решила «спасти» Тамару и повлиять на нее, чтоб она рассталась с Борей – бросила Киев, начала учиться и стала человеком. Затем Катя и Володя приехали в Киев, и мы были перманентно вместе – с утра до вечера. И была у меня нежная дружба с Катей и товарищеская – с Володей.— Они тоже приедут ко мне на Рождество.

---

<sup>144</sup> Гиневский Аркадий Осипович (Иосифович) (1903–1958) – художник-живописец и график. Имел домашнее прозвище Фима.



Тамара. Надпись на обороте: «Эдвардочка – посылаю [нрзб.] – себя комическую, но более ли менее похожую. Подарено весной 30 г.». Осень 1928 г. Фото из личного архива Е.И. Хатовой

Ко мне поступает предложение от матери Тамары – прийти к ней поговорить. — Я пошла к ней, и это уже было в день моего отъезда. — Она мне рассказала свою биографию, плакала (она очень хорошая и красивая) и благодарила, что я хочу помочь вырвать Тамару из «этого омута». Сцена была трагичная и трогательная.

— А вечером мама и Катя проводили меня на вокзал, и я уехала в Москву. — У Бори не была недели три, и, конечно, зайти к нему, после или до матери Тамары, – прощаться (ведь я больше в Киев не приеду), – мне не хотелось.

— После моего отъезда приехала Тамара. Катя ее встретила у Фимы и написала, что не стоит ее «спасать», что она «Ванда = эпигонка и т. д.», а также выразила полнейший скепсис моему мнению о Боре и сказала своей матери, что я в него влюблена. — Так не понять! Так исказить! —

Короче, Боре писать я не собираюсь, а Тамаре – пока тоже нет. — Боря мне говорил, что получил письмо от Ядвиги без указания адреса. Предполагая, что он не будет все равно ей отвечать. Он предатель, я уверена, что Тамара письма Ядвиги к нему знает наизусть.

— О, как Ядвига ошибается, считая себя одной с ним породы. — Я не люблю в Ядвиге этой метафизики какой-то. — Романы бывают не от чувственности, а от идеологии. — Она любила Борю не потому, что он как-то мистически подходил к ней, а потому, что ее идеология была – «je m'en fiche»<sup>145</sup>. И он отвечал такому состоянию, но теперь, когда уж не под этим знаком она живет, когда из плена-склепа Ленкаранского она снова к жизни воззвана, теперь – жизнь, знание, а не «je m'en fiche». С таким в корне неправильным, гнилым и дешевым девизом, конечно, нет самого главного, чего нет и у Бори, – внутренней и внешней оправданности своего прозябания. — С таким девизом хорошо повеситься, а не жить.

А жизнь – это не цепь случайностей (как острил Василий Розанов – все же оправданный литературным талантом своим). Жизнь – это закономерная, сознательная белая дорога, со вспышками счастья, творческой работой ума и с неизбежно ожидающим нас бессмертием, если мы будем не случайными песчинками, а чувствующими свою связь со всем человечеством, которое точно часть тебя – останется жить, когда ты умрешь. А Боря – это подполье, и те, кто любят его, – обладают соответствующими идеологиями. —

Когда, при пробуждении себя в пятнадцать лет, я чувствовала ненависть к мещанству, любовь к книге и живописи, когда я порывалась быть оригинальной и самостоятельной в жизни своей и шла, порывая с мещанством, до конца – в том, что считала правильным, – последовательно и самоотверженно. — Тогда я любила Борю, – он тогда отвечал моей идеологии и давал мне то, что мне нужно было.

Я могла в 18 лет иметь роман с Ч-вым, так как мне тогда было – «наплевать». — И этот скульптор-проходимец, парикмахер из Парижа, вполне отвечал моей идеологии. — И я могла в Питере любить Альтмана<sup>146</sup>, так как он воплощал для меня филологию, чего алкала моя душа, и что стало для меня синонимом жизни. — И характерно, – почти полное отсутствие романов в эпоху Бори, многие десятки романов – в эпоху Ч-ва, и два года целомудрия до встречи с Альтманом, и, думаю, и впредь. —

А то, что Боря неблагороден, – совершенно естественно. При жизни, которую он выбрал себе, человек, ставший нечестным по отношению к себе самому, лукавый раб, перестает быть честным и с окружающими – положение его такое. А также, пользуясь терминологией Кати (и таким образом, захватывая ее область), он – буржуазен, его идеалы – мещанские. Можно

<sup>145</sup> «Мне все равно (мне плевать)».

<sup>146</sup> Альтман Моисей Семенович (1896–1986) – филолог, специалист в области античной литературы, мифологии, фольклора, теории и истории русской литературы, поэт, переводчик. Доктор филологических наук, профессор.

вспомнить Вичку. Тот – богема, и, несмотря ни на что, – художник (духовно и двояко). Боря – мелкобуржуазное отродье, и он нам чужд даже социально. Он и не интеллигент. Это тип провинциального советского служащего – в стороне от широкого течения жизни, узко личного, не работающего интеллектом и сытого – дешевым развратником с глупыми девчонками.—

И Ядвига должна перестать говорить о нем мистически, что «любит его навеки».— Ведь это вздор, ведь он чужой и чуждый человек, умеющий только сантиментальничать, умасливать поэзией прошлого, и внушать свои биндюжнические понятия о любви – вечной и т. п.— Это звучит, конечно, очень подкупающе и очень трогательно и для него, и для Ядвиги, но это, по моему, с его стороны лишь грязное какое-то щекотанье. И я понимаю Ядвигу, что она могла ему поддаться в беседе. Со мной ведь тоже самое было, когда я с ним говорила. Ведь мы другие, чем Катя, его безжалостно презирающая.

Если я лет через двадцать встречу его на улице – проходимцем в «гороховом пальто», – я ведь не пройду мимо, а остановлюсь, дружески расспрошу и не дам на ночлег. А, может быть, и к себе домой возьму его, но это ведь только от молока человеческой нежности и жалости.— «Причем тут какая-то вечная любовь?» Я считаю, что это с ее стороны лишь самовнушение, которое можно оправдать вынужденной жизнью в провинции.— Если б Ядвига приехала в Питер, – тогда все пошло бы иначе.

Надо попросить Ядвигу чаще писать из Саратова.— Я на ее письма всегда набрасываюсь, как лвы на первых христиан. И что за город Саратов?— Есть ли там книги?—

— Я крепко надеюсь, что с мужем она рано или поздно разойдется, а Таня тем временем подрастет достаточно, чтоб стать моей ученицей и быть обученной английскому языку.—

Мне очень хорошо, денег нет перманентно, но очень есть – душевный мир, и я счастлива.—

Зимой мы с Ядвигой, Катей и Володей пойдем в Эрмитаж и поедем на острова, где «вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два крыла»<sup>147</sup>.

А ломка духовная нужна сильная – и коснуться всех сторон души.

---

<sup>147</sup> Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня. Блок А. «На Островах» (1909).

## Глава II (30 января 1927, воскресенье)

### Ожидание войны

Собирала информацию о войне.— Особенно интересна статья Радека из питерской вечерней газеты.— При мысли о войне у меня, по выражению Бабеля, «мозг вместе с волосами становится дыбом». Если бы война закончилась мировой революцией, – тогда она нужна, иначе – иначе это гибель.— Мы должны мобилизовать наш революционный пафос и разложить иностранные армии.— Война может быть лишь воздушной и химической (газы). Это все еще неизвестно, хотя об этом говорят.

Думать не хочется.— Если будет объявлена война с Англией, тогда надо бросить все – и уйти на фронт. Эта война должна решить судьбу человечества, культуры и прогресса.— Жить нам не суждено в это громовое время, – забудем обо всем и уйдем спасать нашу Революцию.— Теперь нельзя оставаться дома.— Ленинград расположен так, что через Кронштадт взять его – пара пустяков.— Но не будем думать, пока ничего неизвестно, пока ситуация в Китае не решит так или иначе вопроса.—

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Бываю в книжном центре лишь три раза в неделю (утром) и проезжаю его в трамвае.— Я даже до сих пор не успела купить Ядвиге Гёте.

Его посвящение к «Страданиям»:

«Все, что я только мог найти об истории бедного Вертера, я прилежно собрал и передаю Вам теперь, и знаю, что Вы меня за это поблагодарите. Вы не можете не удивляться и не любить его дух и характер, и не плакать над его участью. А ты, добрая душа, в этот миг так же, как он удрученная, почерпни утешение в его страданиях, и да будет эта маленькая книга другом твоим, если по воле судьбы или по собственной вине ты не можешь найти более близкого друга».

— Надеюсь постепенно переписать Ядвиге таким образом всего Вертера.— Ведь могла же я раз заучить с голоса одно старинное английское стихотворение, которого не могла достать.

— Я повторяю в моем быту всю историю культуры – сейчас период устных сказаний и былин.— Но верю, что мы идем к тому, чтоб Гёте и Стерн были отпечатаны в миллионах экземпляров и раздавались даром, а не к тому, чтоб их переписывать и пересказывать.—

Хоть бы скорей наступил у нас социализм!— А то – наступают враги, и уже начинаешь бояться наступления весны, которое может оказаться решающим.—

## **Борис – первая любовь**

Я написала Боре, усиленно, но невинно расспрашивая о Тамаре.— Ответа от него еще нет, не знаю, будет ли, и в Киеве ли он?— Тамарина мать мне тоже не отвечает.— Но дело вот в чем. Я на днях позвонила человеку, который привез из Киева это известие, и он мне сообщил версию, бесконечно меня изумившую. По его словам (верней, по словам его кузена – приятеля Тамары, так как он сам Тамары не видал), Тамара заболела свинкой, а затем вышла замуж за этого маленького зеленого мальчика, Борькиного протежэ – курильщик, комсомолец и художник 19 лет. Тщедушный, жалкий и сильно под Бориным духовным, так сказать, влиянием.— И затем они уехали в Одессу.— И этот человек из Киева прибавил, что это может быть и не так. Он обещал мне спросить о подробностях своего кузена, когда напишет ему в Киев. Подумай, какая нелепость!—

## Глава III (3 марта 1927, четверг)

### Штаф в Саратове

— Почему у Ядвиги такой адрес? Что значит – Штаф, да еще бывший? Пока я не докапаюсь до этнографических и филологических корней этого явления, я не смогу ей спокойно писать. Мне кажется все это каким-то подвохом, и Ядвига – жертвой, не ведающей круговорота злых сил, заставивших ее принять этот адрес в их целях. Он мне ночью снится, клянусь, я измучена, и каждый раз, когда я дрожащей рукой пишу эти непонятные жуткие слова, мне кажется, что мое письмо придет не к ней, а к кому-то другому, кто подкапывается и хочет угробить и ее, и меня.— Я боюсь духовного маразма! И потом, я не смущаюсь, ведь почему «проспект Карла Либкнехта»<sup>148</sup>, я понимаю, слишком понимаю – почему.—

Ну, вот, я отвела душу, теперь перейду от части интимной к официальной.—

---

<sup>148</sup> Адрес Эдварды в то время: Ленинград, Петроградская сторона, просп. Карла Либкнехта, д. 74, кв. 16.

## Меркурьева

С Меркурьевой переписываюсь, она мне прислала сборник стихов «Золотая зурна», ее и некоторых других владикавказских поэтов.

В одном из своих писем она написала мне стихи (цикл «Пиковая дама»), вот строки оттуда:

*Только нет в колоде карт фатальных  
Дамы Пик – моей зловещей масти  
Нет ее – владительныя Тайны  
Нет ее – губительные страсти.  
Водоем – но без воды стеклинок  
Полночь – но безлунна и беззвездна  
Пышный пир торжественных поминок  
А по чьей-то по душе – безвестно.  
Оттого и вся я так обманно  
У причуд во власти, у пристрастий  
Что не сшиты моего романа  
По листам разрозненные части<sup>149</sup>.*

А в «Золотой зурне» стихи: «С песенной клюкой». Она – колдунья и ведьма, это ее стиль и сущность.

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

— Необходимо узнать, что с Борькой, и нет в Киеве умного человека, чтобы поручить навести справку. Как быть, не могу ничего придумать, не понимаю, почему он не отвечает на письмо?

Насчет Кати. Она мне давно не писала, я подозреваю, что она прочла мои письма к Люсе.

Здесь нет рассуждений по поводу формального метода, – я не могу сейчас. Мне нехорошо, – это должно скоро пройти – эта боль.— А пока мои писания будут ничтожны. У меня сердце болит.

Ядвига переживает весну своих занятий – ведь лучше этого времени в жизни не будет. Неужели она в будущую зиму будет в Питере?!

Стерн до сих пор, думаю, что впредь, для меня – соль прелести человеческого ума.—

Что могло случиться с Борькой?

У меня нервы разошлись. Скоро будет весна. Мне сто лет.

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Загадка со Штафом прояснилась благодаря Ядвиге:

Штаф. Имение проиграл в карты Левковичу и Штаф, по одним сведениям в Германии, по другим на луне. Был женат на своей горничной, жена жива, замуж второй раз не вышла. Есть тетка у него. Фабрика<sup>150</sup> рабочих, место занимает целый квартал, с садом, с прудом (сад вырубили). Место значит (или знает?) весь Саратов.

---

<sup>149</sup> Начало стихотворения В.А. Меркурьевой «Все-то романические нити...» (3.04.1918) в современном издании ее стихов (Тщета. М.: Водолей, 2007) печатается в таком варианте: Только нет в колоде карт фатальных Дамы Пик, моей зловещей масти. Нет ее – безжалостныя Тайны, Нет ее – владительный Страсти.

<sup>150</sup> Известная табачная фабрика Штафа, а затем Левковича.

## **Глава IV (20 марта 1927, воскресенье)**

Точные адреса Кати и Люси, по которым мои письма прибывают: Москва, ул. Грановского, № 3, 5-й Дом Советов, кв. 108, Ек. Дм. Трощенко, и Москва-17, Озерковская набережная, д. 48, кв. 2, Люсе Вайнберг.



Катя Трощенко. Надпись на обороте:

«Эдварде [на память] о юности.

Твое лицо в его простой оправе

Передо мной сияло на столе.

Это не в моих привычках теперь цитировать Блока, как ты вероятно уже заметила сама в мой последний приезд, но так как “доблести, подвиги и слава” еще впереди, то надеюсь, что не так скоро будет:

Твое лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола».

Одесса, 1924 г. Фото из личного архива Е.И. Хатовой

## Катя Трощенко

— Катюшка пала духом, боится умереть, собирается рожать в Киеве. Мы с Нюской улецаем ее сделать это под Питером – в Сестрорецке. Во всех отношениях – начиная с денежного и кончая пейзажным (Финский залив) – приятнее.— У нее как будто тяжелая беременность, аборт уже нельзя сделать, черт возьми, нелепо подчиняться стихийности и необоснованной случайности.

Люська имеет несчастье зависеть от родителей всецело и покорно, и все это похоже у нее не столько на греческую трагедию, сколько на писаревскую «Кукольную комедию с букетом гражданской скорби».— Люсе я не в состоянии писать, хоть и люблю ее.

## Доктор – любитель Достоевского

Сию сейчас белая, как Пьеро или мельник, у меня рожа обсыпана тальком, а сначала намазана. Дело в том, что у меня от неизвестной причины начала слезать кожа с лица. Сначала некогда было возиться, а потом стало больно, и лицо горит.

Я пошла сегодня в лечебницу, впираюсь к врачу и излагаю ему, в чем дело. Он на меня смотрит внимательно, и руки положил на плечи, и говорит, что у меня это на нервной почве, и что у меня нервы в таком состоянии, что мне надо было б месяца два, – не двигаясь, не читая и не думая, – пролежать в темной комнате.

Я подскочила и выпалила: «Вы с ума сошли!» Он расхохотался и спросил меня, – верю ли я в медицину, а я сказала, что верю только в судьбу.

И так полчаса проболтали, пока я у него выторговала мазь для лица, а потом говорю: «Хорошо еще, что вы не посылаете меня в Сиракузы». И он сразу понял, что это из Братьев Карамазовых, и отпарировал: «Неужели я похож на того "лекаря", который так не понравился Коле Красоткину?»

Мы расстались очень довольные друг другом, велел зайти через неделю. Теперь я намазалась и жду исцеления.— Я потому так подробно написала об этом, потому что это очень редко бывает, чтобы у врача было чувство юмора и знакомство с русской литературой.— Этот сегодня меня тронул.

## Тристрам Шенди

— Вчера был самый торжественный день в моей жизни – я получила в подарок Тристрама Шенди на английском (Laurence Sterne – Tristram Shandy). Он был выписан для меня из Лондона через Данию (так как прямо из России нельзя) обожающей меня ученицей.

## **Питер – город мечты**

— Я за этой книгой гоняюсь уже три года, она была моей мечтой – синей птицей, и было такое странное состояние – осуществленной мечты. До того было у меня такое состояние, когда я, стремясь два года в Питер, наконец, приехала в одно сентябрьское утро.— И когда вышла из вагона, то моросило, и прямо над головой нависало серое мрачное небо и горели фонари, – хотя было около девяти утра, – и у меня ширилось сердце и спирало дыхание.— И я в секунду пережила все жизни героев Достоевского, живших в Питере, и Питер навсегда встал в сердце моем – прочнее, чем он стоит на болотах финских.—

Меня пронзила литературность этого города, и не перестает пронзать, и это то, чем он не похож ни на какие другие города.—

## Стерн

В Питере есть своя интимность любимого романа, и второй раз так потряс меня Стерн. Мне Мг. Шэнди, дядя Тоби и Трим ощущаются как реальный мир, к которому я каждый раз прикасаюсь, читая в сотый раз любимые строки.

— Разговор Мг`а Шэнди с дядей Тоби:

«Мг. Шэнди:

— Вы знали эту мысль, дядя Тоби.

— Не больше, чем моя лошадь.

Мг. Шэнди:

— О, в этом невежестве столько достоинства, что почти жаль заменить его знанием»<sup>151</sup>.

Это ужасно хорошо. Стерн ироничен в пафосе и патетичен в порнографии. Впрочем, последнее условный термин. Стерн целомудреннейший Брамин (как он подписывался в письмах к Элизе, иногда Йорик, иногда Брамин). «Амуры» дяди Тоби с вдовой Уодман — это карикатура на Филемона и Бавкиду, то есть те же Фил и Бавк, взятые в иронии.

Стерн меня организывает уже три года — Сентиментальное путешествие, его письма.

Раскольников («Преступление и наказание») говорил, что все истинно великие люди должны испытывать на земле большую грусть. И затем Раскольников сказал раз о себе другу: «Мне так грустно сейчас. Точно женщине».

При первой его мысли думается о Леонардо да Винчи, а при второй — о Стерне. Он взял себе псевдонимом — Йорик, бедный Йорик — гамлетовский. В его книгах мужская острота и соль — аттическая, вместе с сентиментально-мечтательной женской грустью. Трудно себе представить, до чего я обожаю его — лично как-то, и такая благодарность, что он мне помогает жить, и так понятно, что все самое близкое и желанное — всегда от тебя далеко. Стерн научил меня это понимать и переносить.

— Любопытно, как он по-русски получается, не видела никогда.— По-английски его стиль сладостней Гафиза, но современен. Теперь, когда я держу в руках Тристрама, я начинаю ощущать, что близится смертный час мой. Без желаний нет жизни, а буду ли я еще чего-нибудь так желать?—

Простите за изысканно-скверную бумагу, это не нарочно, пусть утешает тем, что почерк мой ее украшает, а обилие цитат придает ценность.

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Относительно того, что Ядвига написала об Эренбурге. Мне кажется, что я понимаю. Это бывает, когда человек очень жалок тебе, настолько жалок, что не хочешь разрушать его предвзятых мыслей, есть какое-то обаяние унижения, то есть жалкое влечет иногда своей обреченностью и литературностью.

Если это туманно, могу пояснить на себе — мое отношение к Боре.— Я о нем скверно думаю, но когда в Киеве, пред моим отъездом, мы говорили, и он говорил о моих детских к нему письмах и детской любви моей, говорил трогательно, и был нежен и взволнован, и мы расставались, может быть, на много лет, — я была не такой, какая я принципиально к нему. А держала себя так, будто речь шла о «любви на всю жизнь». Была тоже нежной, и грустной, и любящей. И это только для того, чтоб не расстроить литературной ситуации «любви на всю

---

<sup>151</sup> В переводе А. Франковского: «— А понимаете ли вы теорию этого дела? — спросил отец. — Ни капельки, — отвечал дядя. — Но есть же у вас какие-то идеи относительно того, что вы говорите? — сказал отец. — Не больше, чем у моей лошади, — отвечал дядя Тоби. — Боже милостивый! — воскликнул отец, возведя глаза к небу и всплеснув руками, — в твоем простодушном невежестве столько достоинства, брат Тоби, — что прямо жаль заменять его знанием. — — —» (Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена; Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. М., 1968).

жизнь» – с самого детства. И если бы я была равнодушной, – пропала бы художественная горечь момента.

Я, подобно Мармеладову, ищу не веселья, а «скорби и слез».

Так вот, когда с тобой говорят любовно, хочется отвечать любовно, потому что если даже любви и нет, то эта нелюбовь – тоже в плане любовном находится.

## Смерть и сон

Я сделала открытие. Сон – это подобие смерти. Жизнь кончается каждый вечер, и когда спишь – никогда не знаешь проснешься ли.

— Так и уснешь когда-нибудь, а это будет уж смерть, и нельзя будет проснуться, потому что не будет тела. Ужасно!—

Завтра буду в концерте – пятая и девятая симфонии Бетховена. Я счастлива. Я их люблю. Музыка наполняет мне душу и изгоняет оттуда отравляющую ее тоску любовную и мысли о желанном, но невозможном.— Лучше боль в жизни, чем смерть.— Мне кажется, я скоро умру и так и не увижу Лондон.—

Если б знать, если б знать скорей, что суждено, и не мучиться неизвестностью.

## Глава V (16 мая 1927, понедельник)

### Мистическое единство в любви

У меня все закружилось (внутри). Я уже здорова, все сошло благополучно.

— Люся прожила у меня три недели, после чего случилась вещь, которую я усматриваю как фатальное сердцебиение случая.— Люся искала себе комнату, я тоже ей искала, как вдруг Люба сообщает мне, что моя комната на Басковом, где я жила в прошлом году, только что освободилась. Я ее сняла тотчас же для Люси, и, таким образом, она, в силу преемственности, тоже будет жить с Любой.— Но этого мало. Ведь таким образом, у нас оказывается в Питере еще одно забронированное дружеское помещение, что очень важно. Люська переезжает завтра и поступает к Любе и неминуемым встречам с Альтманом.— Вдруг и Ядвига тоже еще когда-нибудь будет жить в этой комнате? Одним словом, эта комната теперь не будет выпущена из рук. Я очень довольна, и Люба тоже, что все так обернулось. Альтмана Люся еще не видела. Она тоже находит, что Люба похожа на Ядвигу (но не Ядвига на нее; Ядвига много красивей).

Мне так дико, так истерически хочется иметь Ядвигу в Питере! Родная моя, желанная Ядвига!— Я ужасно ее люблю, меня роднит с ней роковой мистицизм любви, то есть одинаковое наше ощущение любви, не потому что мы – одинаковые, а потому что одинаковы люди, нас тревожащие и озаряющие (то есть мужчины).— Я надеюсь, она это тоже заметила. Может быть, потому что мужчины и ей, и мне открылись через Борьку. Но есть что-то мистическое и основное. Из-за чего я всегда пойму, почему она любит – кого любит. И знаю, что и она – с оттенком любви и тончайшего, именно мистического понимания – ощутит и мою любовь.

— Конечно, Альтман и комната на Басковом сюда не имеют серьезного отношения.— Но и Альтмана она поймет.— И это у меня только с ней – больше ни с кем.— Она – моя любовь.

— Афоризм Альтмана: «Есть пословица – "рыба ищет, где глубже, человек – где лучше". Но это надо понимать наоборот. Это рыба ищет, где лучше, а человек – ему – где глубже». Это совершенно верно и просто.

— Я его изредка вижу, у него ко мне установилось дружески-отеческое отношение, и очень милое, у меня к нему – в плоскости интеллектуально-разговорной (это ниже, чем духовное).

## Опера

Эти месяцы живу под знаком «Пиковой дамы» (оперы). Хожу в Мариинку слушать ее каждый раз – это выходит раза два в неделю, и после последнего акта сейчас же хочу, чтоб началось сначала. Пылаю, сгораю неутомимой страстью к ней, мне еще не подчинена ее полифоничность. Иду завтра опять. От первой увертюры, провозглашающей уже знакомое безумие, я радуюсь и ужасаюсь. О, когда будет найден язык для музыки? Как мне передать этот холод и дрожь, охватывающие меня от таких знакомых растерзанных стонов смятения чувств в первой увертюре. Или глубина – манящая и гибельная – в шорохе волн в музыке к ее самоубийству (Лиза бросается в Зимнюю канавку, что около Эрмитажа). Местный колорит – тоже.

Ядвиге – обязательно пойти! Но не раз, и не два, а двадцать, чтоб в сердце щемило, и над судьбой не запрыгала б – Старуха! Я по своей воле не видела две недели его, не буду и впредь.

## Страдания любви

Я умираю от любви. Как хорошо страдать! Точно музыка с личным оттенком. Период истерик и «беспричинных» слез прошел, – осталось лишь напряженнейшее ужасное внутри горение. Если до меня кто-нибудь неожиданно прикоснется, – я кричу от боли.— Я залезла в своих чувствах на такие высоты, на которых остались лишь Любовь, Судьба и Смерть.

Массу слушаю музыку, занимаюсь, читаю и переживаю в слезах прочитанное. Вчера перечитывала Dickens «A Tale of Two Cities» («Повесть о двух городах»).

Я желаю. Я желаю возвышенного. Я презираю плоскогорья.— Одним словом, – мне хорошо. Страдание сладострастно и музыкально. Еще увлекаюсь Edgar'om Poe. Он – царь.— Что будет – не знаю.—

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Катюшка к июню уедет в Киев, на Шулявку, – рожать.—

Володя недавно был в Киеве по делу и там навел справки о Борьке. Оказывается, он скоро женится на Тамаре. Вышла замуж не она, а ее младшая сестра.

Люська ушла на работу, завладеваю ее бумагой.

Итак, Тамара собирается зарабатывать деньги в кино, надеясь, вероятно, на свою внешность что ли. С Борей, значит, она не расходится.— Жаль.— Мне она не пишет, Борька мне тоже не пишет. Возможно, что под ее давлением.— Борька вместо юриста тоже хочет работать в кино, художником, кажется.—

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

— Я похудела и побледнела, и довольна, надеюсь не толстеть вновь.

Планы на лето еще не вырешены. Хотела б до августа пробыть в Питере, и скорей всего – устрою это.

— Я всему предпочитаю письма. Когда я умру, пусть мне положат на грудь письмо, которое я, может, всю жизнь ждала, но прочесть не успела. И будет – too late.—

Too late – «слишком поздно», жизненный девиз Эдгара.

## Глава VI (25 сентября 1927, воскресенье)

### Вопросы и пожелания Ядвиге

Буду здесь туманна и обойду многое, требующее моих возражений и комментариев.

Хочу напомнить, что этой зимой мне станет – 24 года.— Вот!

Относительно педвуза я узнала, что прием и перевод был продлен в этом году, но закончился 15 сентября бесповоротно.— Я не жалею об этом. Меня тешат другие основания приезда Ядвиги в Питер, не выставленные – этого мало. Одним словом, эти полные обиняков строки делают честь моему знакомству с Белым.— Я задержана и измучена наставлениями и указаниями Ядвиги. Затем, у меня есть друзья, которых я не вижу, и есть другие друзья, которые их видят и отчитываются в письмах обещаниями «написать» в другой раз. А если о чем и пишут, то теоретически и сухо.

— Меняя безличную форму на лично заинтересованную, – хочу знать все про Борю и Тамару. Членораздельно и с массой мелких и крупных подробностей. Говорил ли что-нибудь про меня? Ядвиге нужно брать пример с обстоятельности Кати и моей.— На марксизме не настаиваю.

Марсель Пруст, о котором я сообщила Кате, – нужно прочесть «Утехи и дни», – это необычайно прекрасно.

Также стоит обратить внимание на «Смятение чувств» Стефана Цвейга.— Литературный вкус Ядвиги – одно из многих ее качеств, заставляющих меня и других уважать ее и любить.—

## **Я могла бы выдать себя своим друзьям за члена Петросовета**

Как легко, живя в таком Богом забытом углу, как Питер, стать предметом выдумок и сенсации, – будто ты где-то в непостижимом Гонолулу. — Я могла бы выдать себя своим друзьям за члена Петросовета, могла б сказать, что была замужем и воспитываю в Петергофе кудрявого мальчишку, названного – Лоренс – в честь Стерна. — Лоренс Эдвардович. Но я этого не делаю. Короче, я еще не преподаю у себя на курсах, и я еще не профессор.

— Я преподаю в Профсоюзной школе при Губпрофсовете английский язык. — Этого я не скрываю. — Так что слухи обо мне оказались несколько преувеличенными. — Я преподаю английский язык, но не в таком специальном учебном заведении, как наше. — Здесь такое отношение, как преподавание русского языка в школе II ступени и в довоенном Университете.

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Катюша написала мне о Ядви́ге и об их дружбе и любви к ней. — Очень хорошо.

Как жаль, что мы не можем заниматься втроем филологией, – это моя мечта. — Но когда мы с Ядви́гой доучимся и разбогатеем, тогда нам легче все это будет.

— Бог наслал на меня чудо – я свободна. Я заменила любовь дружбой и уже забыла о прежних метаньях из-за любви. Это было внутренне, и тем это и замечательно, что не было, как это обычно бывает, – зависимости моего отношения от чужого ко мне. — Я просто однажды утром, встав, сказала себе: а что если я не буду тосковать, или мне просто надоело быть грустной. Но меня сразу оставило, сразу отхлынуло от меня все трагическое, и мне снова хорошо, радостно и весело. — А с тем человеком – хорошая дружба, и больше ничего, и я довольна, и все прошло. — Как хорошо! — Но прежнее чувство неужели было только литературно? Недоумеваю.

## Киев

Как выглядит Киев? Может быть, еще придется мне когда-нибудь побывать там, наш Институт имеет уже отделение в Москве при II Университете и собирается открыть отдел и в Киеве, и в Одессе. Может быть, еще пошлют меня организовать там дело и пролить свет. Но все же в Киев не тянет – скучный город и очень провинциален.—

—#—#—#—#—#—#—#—#—#—

Теперь я снова очень занята. Как хорошо жить – и как я счастлива!

Люсе дико повезло здесь – Биржа труда послала ее стажеркой на один год в статистический отдел Губпрофсовета за 50 рублей в месяц, так что она теперь самостоятельна и обособилась от parent'ов. Ласковый город – Питер. Всех нас еще приютит когда-нибудь.

— Катя Козина снова вышла замуж. И снова живет здесь, и отдельно от мужа.

Альтману я перевела на английский язык его работу «Геродот и Толстой». Он хочет ее послать в Лондонский филологический журнал.— Он такой, как всегда, постарел только очень за этот год, говорит, что «жизнь не сон, а бессонница, лишь смерть – это сон».— Берется за диссертацию «Гомер». С ним отношения товарищески-дружеские. Он также остроумен и умен, но все-таки стареется.—

Любу сократили со службы. Она подавлена.—

Ну, кажется, все – о людях.

## **Человек – это животное, которое пишет письма**

У меня грандиозные замыслы эпистолярные по отношению к Ядвиге и Кате. И мучит невозможность их осуществления из-за отсутствия времени.— Если б иметь несколько часов, чтоб написать всласть и про литературу, и про книги, и про всю жизнь.— Ужасно!— Человек – это животное, которое пишет письма.— Вот чего нет ни у кого другого.

## Исчерпанная книга

— Как это странно. Всего два месяца назад – изнемогать от любви... А теперь – не чувствовать никакой потребности видеть, и мысли заняты уж совершенно другим, а жизнь полна и радостна. А любовь, хотя была такой духовной и возвышенной, почему-то исчезла.— И так это внезапно, вдруг – при мысли о нем ничего не звучит, – точно это отложенная в сторону, исчерпанная книга.— И ведь он мне по-прежнему большой и нежный друг, и мое мнение о нем такое же высокое, как раньше.— Но что-то ушло – не то чувственность, не то романтика. Я уже больше не умилена.— Неужели и это была не любовь? Неужели не будет любви в моей жизни? Это любопытно.—

Сейчас у меня осталось двое старых любимых друзей – Ядвига и Катя. Но нет мужчин, с которыми могла бы быть тонко построенная дружба или большая любовь. И которые писали бы мне письма, и которым я бы отвечала искренне, конструктивно и нежно. Я слегка обеспокоена.— Правда, эту последнюю зиму я буду очень занята – мне не до любви. Но к лету – чувствую, что взбешусь без любви. Хоть бы меня командировали куда-нибудь или нагрузили работой! Романы осточертели и мерзки, нужна большая любовь. «Большая Игра» – о! И духовная, и возвышенная. Но людей нет. Думала, что нашла, но, к моему большому смущению, экстаз любви благополучно и бесследно ликвидировался, и душа снова открыта для любви.

На какие деньги, кстати, верней некстати, живет Борис?

## Глава VII (23 декабря 1927, пятница)

### Почему Альтман

Письмо Ядвиги меня ужасно обрадовало и восхитило.— Я знаю и знала, что она великодушна, гораздо больше меня, — теперь я еще раз прочно в этом убедилась. Дело касается, конечно, Альтмана (Моисея Семеновича Альтмана).— Я ошиблась, чувствуя, что Ядвига доверчиво, великодушно и возвышенно к нему отнесется и захочет именно усвоить его вершины (или истоки), одним словом, — как должно.—

Катя увидела в нем лишь пошлового (это сильнее, чем просто пошлого) Дон Жуанчика, другие искали в нем марксизма, и все глядели на него с какой-то избито-обывательской и страшно-земной точки<sup>152</sup>. Просто не могли его увидеть, — им недоставало творчества. И пусть Ядвигу не смущает, что он займет такое большое место. Ведь он для нас — идеология, а не «покоритель сердец», поэтому если нам нужно поделиться со всеми новыми мыслями и соображениями, которые он вызвал к жизни, то в этой нашей духовной работе частые о нем упоминания не должны коробить. Ведь мы его берем абстрактно, и то, что мы нуждаемся в его духовности, именно и указывает на серьезные наши духовные искания, «а не на какой-то гимназически-институтский роман» или переписку.

Если б «обожать», то есть на то — Конрад Фейдт (немецкая звезда кино — потрясающ в роли Цезаря Борджиа), или что-нибудь такое же, а мы — духовно.— Потому что о нем, как и обо всем, производящем на меня сильное впечатление, я намерена всегда писать. Тем более, что об Альтмане мне вообще приходится молчать, — никто не возвышен достаточно, чтоб его понять<sup>153</sup>. И я очень рада, что смогла Ядвигу к нему расположить, и что она доступна теперь для моих излияний. Она единственная, — кому я могу о нем писать, и только она все поймет.

Род его занятий — он филолог-классик (то есть эллинист) и научный сотрудник Ленинградского университета.— Живет на получаемую в Университете стипендию не то 80, не то 100 рублей.

---

<sup>152</sup> Через год Эдварда познакомила с Альтманом сокурсницу Ядвиги по Саратовскому университету Наташу С. Сохранился ее отзыв: «Познакомилась с Альтманом, но ничего еще сказать не могу. Мне было очень любопытно. Он много ломался и рассказывал ненужные анекдоты. А Эдварда милая» (9.09.1928).

<sup>153</sup> «... Чем я только не увлекался, чему я только не сочувствую. Я и коммунист, и эсер, и меньшевик, и монархист, и республиканец, я и толстовец, и хасид, и ницшеанец, и шопенгауэрианец. Я за всех, я за все, и я ничей и ничто. Я раздираем на все атомы, я миллиард частей без единого целого, без синтеза, тысячи возможностей, ни одной действительности, периферия без центра, мир без Творца, толпа без героя, история без апофеоза, жизнь без гения...» (Из дневника М.С. Альтмана, 24.09.1920).

## Марр

— О яфетической теории. Прежде чем читать Марра и другие книги, я была посвящена в нее Альтманом. Хотя книг не достанешь, их нет в продаже из-за того, что официальное научное большинство придерживается индоевропейской теории происхождения языков. Поэтому книги Марра печатаются на его собственные средства, а также на средства кавказских научных организаций и имеются лишь в Академии Наук для пользования научных работников.— Боже, что за стиль! Я их читаю благодаря Альтману, который дает мне их с тысячью горьких слов, да и то не всегда, а лишь в светлые минуты. Сейчас лежит книжек пять, которых я ему не верну (надо бы их послать Ядвиге).

Яфетическая теория разбила в пух и прах индоевропейскую. Читать сразу книги трудно – они очень специальные, и я с ними справилась лишь благодаря объяснениям Альтмана.— Марр – гений из гениев.—

Кроме Н.Я. Марра, есть еще труды его учеников – весьма немногочисленных. Но главное, вся теория, весь путь к пониманию лингвистики в его книгах. Это человек, свободно говорящий на 60 языках и знающий в совершенстве все остальные языки, диалекты и наречия, живые и мертвые, – всего мира. От китайского до финского, баскского и цитирующий их в своих книгах, что затрудняет чтение – со всеми гнездами и ответвлениями. Ему сейчас 65 лет. Живет и работает постоянно в Питере.— По-моему, это самый крупный из обитателей земного шара – по гениальности и необъятности горизонтов.

Ямфак – это бывший историко-филологический факультет Университета.

## По

— Статью По, мною переведенную, я еще не переписала, и она вся в помарках и перечеркнутостях. Меня постиг удар! Оказывается, она была уже до меня переведена Бальмонтом. Альтман клялся, что она не была переведена, и я ему поверила и вступила в переговоры с одним критиком, сотрудником «Звезды», по поводу ее напечатанья.— Он меня попросил сообщить, в каком году была написана эта статья?

Я этого не знала и пошла в справочное бюро Публичной Библиотеки, где можно получить какие угодно литературные справки. Заполнила анкету, велели явиться через три дня. Когда пришла, — узнала, что статья была написана в 1846 году и впервые на русском языке появилась в переводе Бальмонта. Я зашаталась, — это после месяца работы, когда мне показалось, что я открою России Эдгара.

Прихожу домой, папа мне говорит: «Вот тебе мораль — не берись за дело, не разузнав подробно, что и как». Позвонила Альтману. И он же меня зашпынял и издевался надо мной! Говорит: «Вот тебе мораль — не верь на слово, в науке надо всегда проверять». Это после того, что я ему же поверила!—

Но он был очень раздосадован, что не знал о переводе, я его назвала верхоглядом, и разговор кончился очень холодно.

На другой день опять поплелась в Публичную библиотеку и потребовала эту статью по-русски.— Бальмонт, оказывается, сделал не вполне точный, очень небрежный, смазанный и хуже моего перевод. А я извлекла из всего этого такую мораль: «Всегда все, что делаешь, делай так, будто тебя за это ждет бессмертие, и слава, и деньги. Одним словом, — гори и никаких гвоздей, — как говорит Маяковский». Мне моя мораль больше нравится.

## Похороны Сологуба

Большое потрясение – панихида Сологуба. Это было в Доме Писателей, очень уютная квартирка на Фонтанке, где я слушала в прошлом году Белого, и вообще там хороший тон. Там стоял посреди небольшой комнаты, на высокой подставке, гроб с телом Сологуба. У него было безмятежное, полное мира, спокойное мертвое лицо, седая борода отросла, у изголовья – свечи, пахло елками и ладаном, стояли писатели и немного публики из почитателей.

Хор академической капеллы (под управлением Климова, первый хор в Европе) пел под тихий аккомпанемент рояля на музыку Похоронного марша Шопена – реквием. Боже! Это было первое пение, – мною услышанное! Точно хор ангелов с картины Ван-Эйка!— Этот такой известный марш, но ими впервые положенный на слова, по-новому был понят мною. Голоса совершенно райские, низкий ропот мужских и звенящие, серебряные женские, и непокорные тенора, а вместе – такое успокаивающее, говорящее распростертому телу мертвого поэта. Спи, спи, кончилась борьба, ты ушел к новой жизни, усни в мире. И слова такие были проникновенные, и не грустные, и не радостные, а какие-то потусторонние. И слушая это небесное пенье и конфузливо, под сурдинку, бормочущий рояль, и глядя на прекрасное, мудрое, восковое лицо Сологуба (Альтман сказал, что он похож был в гробу на Гомера), я почувствовала какое-то странное просветление. Я поверила, и сейчас еще верю, – в бессмертие. Есть что-то, – чего мы не знаем, и что откроет только Смерть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.